

**АННА
БЕРСЕНЕВА**

ГЛАШЕНЬКА

Анна Берсенева
Глашенька

«Анна Берсенева»

2011

Берсенева А.

Глашенька / А. Берсенева — «Анна Берсенева», 2011

ISBN 978-5-699-51687-2

Любая девушка, выросшая в хорошей семье, рано или поздно убеждается: «книжные» представления о действительности – удел юности. Если вовремя с ними не расстаться, то во взрослой жизни ждут сплошные разочарования. Глаша Рыбакова расстаться со своими наивными иллюзиями не сумела, и их крушение оказалось слишком болезненным. Глаше «за тридцать», а любовь ее обманула, и яркие надежды молодости, которая прошла в Москве, обернулись жизнью в глуши и... И надо наконец научиться жить по взрослым правилам! Надо совершить решительный поступок, который переменит ее жизнь, сделает ее счастливой. Ведь не зря же судьба приводит Глашу в Испанию, дарит встречу с человеком интересным, незаурядным и, кажется, любящим ее?..

ISBN 978-5-699-51687-2

© Берсенева А., 2011
© Анна Берсенева, 2011

Содержание

Часть первая	6
Глава 1	6
Глава 2	8
Глава 3	12
Глава 4	18
Глава 5	20
Глава 6	28
Глава 7	31
Глава 8	34
Глава 9	38
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Анна Берсенева Глашенька

Дорогой читатель Литрес!
Я стараюсь писать свои
книжки так, чтобы мне самой
интересно было их читать.
Пусть будет интересно и
Вам.

т. Со
(Анна Берсенева)

Часть первая

Глава 1

Станция Дно зияла не августовской, а какой-то осенней тьмой.

Даже не верилось, что вечером, когда Глаша садилась в поезд, перрон во Пскове был пронизан солнцем, и рельсы сверкали весело, и золотые шары у ближних к городу дачных платформ так полны были покоем, что клонились цветочными своими головами к обветшалым дощатым заборам.

Но, конечно, дело лишь в том, что вечером, уже в темноте, пошел дождь. Да, только в этом. Из-за этого так уныло, так безнадежно выглядят теперь станционные постройки, рельсы, фонари. И даже цветы в палисаднике у вокзала – все те же золотые шары – вздрагивают под дождем не покойно уже, а понуро и беззащитно.

Глаша смотрела в окно вагона и очень понимала императора Николая Александровича. Не то что от престола отречешься на этой станции Дно – от жизни потянет отречься, пожалуй!

Она любила дорогу из Пскова в Москву и даже не дорогу саму – что уж тут любить, рельсы, что ли? – а скорую перемену жизни, с которой эта дорога всегда была связана.

Ну да, впрочем, кто же не любит перемен и кто же не связывает их с дальней дорогой? Глаша и в этом смысле представляла собою вполне усредненный человеческий тип.

Думать об этом было не очень-то приятно. Поэтому она поскорее отогнала от себя подобные мысли. Тем более что и поезд наконец тронулся с места – поплыли мимо вагоны товарного состава, стоящего на соседнем пути.

Иллюзия длилась всего несколько секунд. Потом Глаша поняла: не ее поезд тронулся, а наоборот – товарняк. Это его вагоны и цистерны плывут мимо, набирая скорость, а Глашин поезд стоит на месте, и дождевые капли ползут по его оконным стеклам все так же неторопливо, и ветер их не уносит.

«Вот так и моя жизнь, – с той отчетливостью, с которой всегда являются в голову пошлейшие умозаключения, подумала она. – Я сижу в неподвижном поезде, мимо идут вагоны, прицепленные к локомотиву, и оттого у меня иллюзия, будто это я еду».

Ей стало так противно, что хоть накройся с головой одеялом да и рыдай в подушку. Ну с таким ли настроением отправляются в отпуск, да еще куда – к морю, на испанское побережье! Стыдно вам должно быть, Глафира Сергеевна!

Слова эти прозвучали в голове так, словно их проговорила музейная уборщица Наталья Петровна. Глаша не могла припомнить, когда бы это Наталья Петровна ее стыдила, но голос почему-то слышался именно ее. Наверное, потому, что Наталья Петровна всегда держалась строго и губы у нее всегда были недовольно поджаты.

Как бы там ни было, а заснуть с такими мыслями нечего было и надеяться. Тем более что сосед на верхней полке храпел нестерпимо, и вагон был плацкартный – в другие билетов не было, – и кто-нибудь из пассажиров обязательно ходил по нему из конца в конец, или разговаривал, или пил, и хорошо еще, если не пел.

Глаша надела туфли, взяла из-под подушки сумочку и сама присоединилась к этим вечно бессонным пассажирам – направилась в тамбур.

Курила она мало, но зато плохо, то есть под тоску. А это залог того, что чем старше она будет становиться, тем больше будет курить и тем старше, соответственно, будет выглядеть. Замкнутый круг.

Как только она открыла дверь тамбура, поезд наконец тронулся. Тут уж не иллюзия была: вагон дернулся так, что Глаша ударилась лбом о дверной косяк. Мысль о том, что именно таким

образом и развеиваются все ее иллюзии, она постаралась отогнать быстрее, чем эта мысль превратилась в слова. Зачем ей держать в голове очередную расхожую истину?

Она курила, смотрела на уплывающую платформу. И вдруг поняла, отчего ее тоска, отчего крутятся в голове пошлости, напоминающие никому не нужное подведение итогов, отчего не радуется приближение Испании и отчего все это накрыло ее именно здесь, на станции Дно.

Догадка эта была так очевидна, что и догадкой-то не могла считаться. Она ехала по этой же дороге, этим же поездом как раз в тот день, вернее, в ту ночь, когда так резко, так сильно переменялась ее жизнь.

Тогда Глаша была уверена, что переменялась к счастью. Теперь – не знала.

Глава 2

Провожая Глашу на учебу, мама была растеряна страшно. Глаша никогда в жизни ее такой не видела. Она бестолково складывала вещи во все сумки сразу, и многие из этих вещей были совершенно ненужными. Глаша пыталась возражать, но мама приходила от ее возражений в такое отчаяние, будто дочка не громоздкую электрическую кофеварку отказывается с собой взять, а зубную щетку.

– Ведь это твоя любимая кофеварка! – В мамином голосе звенели слезы. – Помнишь, папа тебе ее из командировки привез? И ты каждый день... каждое утро... Я в кухне вожусь и слышу, как ты у себя в комнатке кофе варишь, запах такой... Утро, ты дома, читаешь, занимаешься...

Тут мама начинала плакать, и Глаша, конечно, сразу бросалась ее утешать, уверяя, что кофеварку возьмет с собой непременно и будет вспоминать маму с папой и дом каждый раз, когда станет варить утром кофе, да она и так никого забывать не собирается, ну что ты, ма, ведь я не за тридевять земель еду, ведь я в Москву, ты вспомни, как мы все мечтали...

– Да. Да. – Глаша видела, что мама изо всех сил старается взять себя в руки. – Конечно, я счастлива. А все-таки ты меня только тогда поймешь, когда свою дочку из дому провожать станешь.

И мама снова принималась набивать сумки – теперь уже продуктами, потому что, Глашенька, ведь у нас тут хотя бы заказы дают на работе, а в Москве кто тебе даст заказ, а магазины пустые стоят, я же помню, как ужаснулась, когда мы с тобой на экзамены ездили...

Папа в сборах не участвовал: считал, что женщины лучше в этом понимают. Он должен был отвезти Глашу в Москву и помочь ей устроиться в общежитие, и это задание считал для себя самым правильным. А брать или не брать кофеварку, это Глашеньке самой лучше знать.

– Ты оставь ее, Маша, оставь, – примирительным тоном говорил он жене. – Что хочет, то пусть и берет.

В общем, день накануне отъезда был хлопотный, бестолковый и слезный, но Глаша была счастлива.

И как она могла не быть счастлива, когда вдруг, в каких-нибудь две недели, сбылись все ее мечты? Никто не верил, что это возможно, поступить в университет, то есть что для нее это возможно – без единого знакомства не только в МГУ, но и вообще в Москве. Никто не верил, но она поступила. И не то что странно было бы, но просто невыносимо, чтобы она теперь испытывала какие-либо чувства, кроме сплошного, крошечного счастья.

И когда псковский перрон отпустил ее наконец, словно вздохнув, когда стал набирать ход увозящий ее московский поезд, Глаша почувствовала такой восторг, что чуть не закричала во весь голос что-то громкое и бессмысленно радостное.

Спать она, конечно, не могла. Они с папой ехали в купейном вагоне – это он взял такие дорогие билеты, хотя, наверное, надо было поберечь деньги на московское житье, – и соседи попались спокойные. Но ни удобства, ни тем более спокойствия Глаше сейчас совсем не хотелось.

Она весь вечер вертелась на своей нижней полке – папа несколько раз спрашивал сверху, почему она не спит, как будто это и так непонятно, – и наконец, дождавшись, пока его дыхание наверху станет ровным, надела тапки и выскользнула из купе.

Глаша впервые попробовала курить в девятом классе, а на выпускном вечере попробовала еще разок. Ни в первый раз, ни во второй ей это несколько не понравилось. Но сейчас хотелось сделать что-нибудь лихое, совсем себе не свойственное, и покурить – это было самое подходящее. Сигарет у нее, правда, не было, но неважно: в тамбурах всегда кто-нибудь курит – поделятся с ней.

Лихая бесшабашность, охватившая Глашу еще на псковском перроне, позволяла ей теперь с легкостью делать то, что совсем еще недавно и в голову не пришло бы.

Лампочка в тамбуре почти перегорела – светила, но еле-еле, то и дело мигая. Мужчина, куривший у окна, показался Глаше каким-то опасным. Может, потому, что слишком уж он был большой, заслонял окно плечами, а может, из-за такого вот нервного освещения. Тревожные отсветы плясали на его белой рубашке, казалось, что-то меняется в его облике каждую секунду, и непонятно было, что он такое. А вдруг бандит?

Впрочем, эту глупую мысль Глаша сразу отогнала. С чего вдруг бандит? Просто фильм недавно показывали, и там вот именно был бандит, который убил жену главного красавца-чекиста ножом в вагонном тамбуре.

– Извините, – смело сказала Глаша, – у вас не найдется сигареты?

Мужчина обернулся. Теперь отсветы плясали уже на его лице. Это было не тревожно, а красиво. Как на картине Рембрандта.

Глаша не зря любила живопись – она всегда замечала в жизни то, из чего получаются потом картины. И сейчас, глядя на лицо этого незнакомого мужчины, она видела то, что было главным в картинах Рембрандта. В «Ночном дозоре», может? Глаша не успела понять. Это было так неожиданно – ну кто ожидает увидеть рембрандтовский свет в вагонном тамбуре? – что она радостно улыбнулась.

– Сигарета найдется, – сказал этот рембрандтовский человек и протянул Глаше пачку.

– Спасибо.

– На здоровье, – усмехнулся он.

Глаша взяла сигарету, подумала, что надо было попросить еще и прикурить. Но он и без ее просьбы щелкнул зажигалкой. Глаша закурила и сразу закашлялась.

– Крепкие... – смущенно пробормотала она.

Ей стало неловко от того, что она закашлялась, как маленькая.

– Да, «Житан» крепковат, – сказал он. – Но других нет.

Глашу затошнило, и курить тут же расхотелось. Но как-то неловко было сразу же бросить сигарету, да еще, понятно, иностранную, дорогую. Она стала курить без затяжки, набирая дым в рот.

Он засмеялся.

– Что смешного? – вместе с дымом выдохнула Глаша.

– Вы курите, как птенец.

– Разве птенцы курят?

Ей стало смешно, и она тоже засмеялась.

– При взгляде на вас думаешь, что да. Вы из Пскова едете?

– Да.

– А как вас зовут?

– Глаша. Рыбакова.

Она назвала фамилию по школьной привычке. Он засмеялся снова.

– Глашенька Рыбакова! – сказал он. – Да еще из Пскова. Вы же прямо девочка из книжки!

Нетрудно было догадаться, что он именно так и подумает.

Глашина мама знала книги Каверина чуть не наизусть, потому и назвала ее в честь героини своего любимого романа. Она сама рассказывала Глаше: когда выходила замуж за Сергея Рыбакова, ее будущего папу, то сразу решила, что дочка у нее непременно будет Глашенька. Рыбакова Глафира Сергеевна, в точности по роману.

Псков вообще был каверинский город – и сам он здесь жил в детстве, и Саня Григорьев из «Двух капитанов», и все герои его «Открытой книги», в том числе и Глашенька Рыбакова.

Мамина фантазия совсем Глаше не нравилась. Во-первых, потому, что она не видела ни малейшего сходства между собой и Глашенькой Рыбаковой из книжки. Та была довольно

подлая и очень-очень красивая, очень-очень неотразимая – мужчины из-за нее с ума сходили все подряд.

Глаша и ничего подлого вроде бы не делала, и красавицей ее назвать вряд ли кому-то в голову пришло бы. Она была самая обыкновенная, и даже то, что можно было считать в ней красивым – льняные волосы, например, – точно так же можно было считать и обыкновенным. То есть ее волосы прелестно назвались просто русыми. Как у многих.

А во-вторых, из-за книжного имени все то и дело напоминали ей, что она книжная девочка. Вот, пожалуйста – первый же встречный так ее и назвал!

– А меня зовут Лазарь, – сказал он.

Глаша даже про свою досаду позабыла.

– Какое имя необычное! – воскликнула она.

– Мамина фантазия. В память своего покойного отца назвала. Во Пскове я, по-моему, один с таким именем.

– У меня тоже – мамина фантазия, – улыбнулась Глаша.

Лазарь вынул из ее пальцев сигарету и выбросил в окошко.

– Вы же не курите, Глашенька, – сказал он.

Возражать Глаша не стала. Ей уже не хотелось сделать что-нибудь лихое, потому что лихости было достаточно в ее собеседнике. Об этом она догадалась сразу, и даже непонятно почему – он ничего необычного ведь не делал. Но лихость, или не лихость только, а какая-то... лихая точность – да, именно так – чувствовалась даже в том, как он открыл и быстро захлопнул тугое тамбурное окно, когда выбрасывал ее сигарету. И его глаза – широко поставленные, что вообще-то, как известно, является признаком художественно одаренной натуры, – были никакие не художественные, а вот именно лихие.

– Не курю, – легко согласилась Глаша. С ним легко было соглашаться и вообще разговаривать. С ним просто было легко. – Но у меня такое необыкновенное настроение, что и сделать хочется что-нибудь необыкновенное. Не такое, как всегда.

– И почему же у вас такое необыкновенное настроение?

Видно, широкие глаза были ему придуманы природой не для того, чтобы писать картины, а для того, чтобы особым образом смотреть на человека, которого он слушает. Этими своими необычными глазами Лазарь смотрел на Глашу очень внимательно.

– Потому что я поступила в Московский университет! – радостно выпалила она.

– Ух ты как!

Лазарь произнес это так же радостно, как она. Хотя что ему радоваться успехам постороннего человека?

Впрочем, удивилась Глаша этому не очень: ей казалось естественным, что весь мир насквозь сейчас радуется вместе с ней и ею восхищается. Ей хотелось расцеловать весь мир и Лазаря тоже.

Правда, как только эта мысль пришла Глаше в голову, она тут же смутилась. Хороша бы она была, если бы бросилась целовать незнакомого человека! К тому же взрослого: по Глашиным прикидкам, Лазарю было наверняка больше двадцати пяти – предельного возраста, который еще можно было считать молодым.

– Это событие надо отметить, – сказал он.

– А мы уже отметили, – радостно кивнула Глаша.

– Когда это? – удивился Лазарь.

– Сразу же, как только я поступила. Мама испекла пирог, и мы отпраздновали.

Тут Лазарь уже не улыбнулся и даже не рассмеялся, а просто расхохотался.

– Глашенька! – утирая слезы, сказал он. – Тот пирог давно зачерствел! Сейчас, сейчас надо отметить это выдающееся событие.

– Но как же сейчас? – растерялась она. – Прямо здесь, в тамбуре?

– Зачем в тамбуре? В ресторане. В поезде есть вагон-ресторан.

– Я не знаю... – проговорила Глаша.

– Честное слово, есть. Можете мне поверить.

Ей стало смешно. Он смешил незаметно и необидно.

– Я знаю, что он есть, – улыбнулась Глаша. – Только как же мы в него пойдем? Я в халате и в тапках. И я же с папой еду... Вдруг он проснется и испугается – где я?

– Не будить же его специально, чтобы предупредить, – пожал плечами Лазарь. – Если обнаружит ваше отсутствие и пойдет вас искать, то сразу в ресторан и попадет. Это в соседнем вагоне.

«А что? – подумала Глаша. – Зря, что ли, мне чего-нибудь необыкновенного хотелось? Вот оно, необыкновенное!»

Посещение ресторана было делом безусловно необыкновенным, потому что Глаша никогда в ресторане не была. То есть была, но очень давно, она тогда в пятом классе училась. И, кажется, это был даже не ресторан, а кафе – они всей семьей ходили туда на поминки по маминному дяде. Ну и в кафе-мороженое она была, конечно, но это уж и вовсе не в счет.

– Почему бы и нет? – сказала Глаша. – Если вас не смущает мой вид – пойдемте.

Она была уверена, что произнесла это совершенно взрослым, небрежно-снисходительным тоном. Но Лазарь, видимо, так не думал – Глаше показалось, что при ее словах он еле сдержал улыбку.

Глава 3

Пока переходили из вагона в вагон по шаткому мостику над стучащими колесами, Глаша надеялась, что ресторан будет закрыт. Но он не только открыт оказался – в нем и людей сидело немало, несмотря на то что было два часа ночи.

В дальнем углу гуляла большая компания. Глаша посмотрела на нее с опаской: очень уж шумно гудели пьяные мужчины, и очень уж громко хохотали не менее пьяные женщины.

– Не бойтесь, Глашенька, – сказал Лазарь; наверное, он заметил ее опасливый взгляд. – Сюда они не подойдут.

Он сказал это так спокойно, что ему нельзя было не поверить; Глаша и поверила. Только вот при ярком свете она почувствовала себя страшно неловко от того, что на ней халат и тапки. Ей показалось, что все смотрят на нее с насмешливым недоумением.

Она даже не стала разглядывать вагон-ресторан – поскорее уселась за стол и передвинулась к окошку. Так хоть тапки не будут заметны, а халат, может, сойдет за платье.

– Хотите поесть? – спросил Лазарь.

– Нет, что вы! – воскликнула Глаша. – Ведь ночь уже.

Вся эта затея наконец представилась ей в полной своей странности, чтобы не сказать – глупости. Она в вагоне-ресторане, ночью, среди пьяниц, и, может, мужчина, с которым она так беспечно сюда явилась, тоже сейчас напьется...

– Тогда шампанского, – сказал Лазарь.

«Точно напьется! – с ужасом подумала Глаша. – Напьется, начнет рассказывать что-нибудь назойливое, не отпустит уйти... И что тогда делать?»

Папа пил совсем мало, только по праздникам, и то домашнюю наливку, которую мама делала из морошки, – так что Глаша видела пьяных только со стороны. И зрелище это казалось ей очень неприятным. Вполне вроде бы нормальные мужчины, вот как, например, сосед по двору Алексей Палыч, которого папа уважал как отличного столяра, настоящего мастера, или другой сосед, Коля-косой, тихий и робкий парень, – все они, да и другие, выпив, становились какими-то громогласными, именно что назойливыми, потом и вовсе злыми – лезли в драку без всякой причины, а то еще начинали ни с того ни с сего рыдать, колотить в стену кулаками или даже головой...

Представив, что все это может произойти сейчас с Лазарем – а почему бы и нет, ведь она понятия не имеет, что он такое! – представив это, Глаша испуганно притихла и, отвернувшись к окну, чуть не носом уткнулась в стекло. Как она ругала себя сейчас за свою дурацкую бесшабашность!

Но Лазарь не замечал Глашиного состояния, ведь он не мог читать ее мысли. Он разговаривал с подошедшим официантом. Прежде чем отвернуться, Глаша успела рассмотреть, что рубашка на этом официанте мятая и в пятнах. Что заказывает Лазарь, она от волнения не слышала.

– И замените скатерть, – сказал он напоследок.

Глаша осторожно, через плечо посмотрела на него. Как это – заменить скатерть? Сейчас официант скажет: сам знаю, что со скатертью делать.

Но официант ничего про скатерть не сказал. Когда он ушел, Лазарь спросил:

– Что вы так испуганно смотрите, Глашенька? Все еще пьяных боитесь? – Он кивнул на компанию в противоположном конце вагона.

– Нет, – покачала головой Глаша. Хотя пьяных она боялась тоже. – Просто я удивилась.

– Чему? – не понял он.

– Что вы сказали официанту заменить скатерть. Разве это можно сделать?

– Он, наверное, считает, что нельзя, – серьезно глядя ей в глаза, ответил Лазарь. – А я считаю, что можно и нужно. Потому что скатерть грязная. А вы, наверно, в первый раз в ресторане, – вдруг догадался он.

Впрочем, особой догадливости для этого не требовалось. Глаша отлично представляла, как выглядит со стороны, да еще в глазах такого проницательного человека, каким, похоже, был Лазарь.

«Ну-ка, хватит трястись! – сердито одернула себя она. – Подумаешь, ресторан! Что такого особенного? Я ведь уже студентка! В Москве, может быть, каждую неделю в рестораны буду ходить! Или хотя бы каждый месяц».

До сих пор, правда, она не собиралась посещать в Москве рестораны; даже и мысль о них как-то не приходила ей в голову. Но стоило ей сейчас вспомнить, что она студентка, а значит, совсем взрослая, как самообладание сразу же к ней вернулось. И ей снова стало интересно рассмотреть получше и ресторан, и своего неожиданного знакомого.

В ресторане, впрочем, ничего интересного не было. Обычные вагонные столики, разве что побольше, чем в купе, и скатерти на них в самом деле грязные, как и все поездное белье, и занавески на окнах серые, застиранные... На фоне этих занавесок рубашка Лазаря выглядела просто кипенно-белой. Даже не измялась в дороге! Вроде бы мелочь, а вызывает уважение.

– Вы едете в Москву в командировку? – поспешно спросила Глаша.

Ей совсем не хотелось, чтобы Лазарь догадался о ее глупых наблюдениях над его внешностью, и особенно о том, что она сравнивает его рубашку с занавеской.

– А может быть, я москвич и домой возвращаюсь?

Внимание перебилося в его глазах смешинкой, и смешинка эта была так заметна, что насчет москвича Глаша ему не поверила.

– Мне кажется, вы не возвращаетесь домой, – сказала она.

– Почему вы так решили?

– А вы про Псков сказали «у нас», – объяснила она.

Не объяснять же было про смешинку в его глазах.

– У вас хорошая память, – заметил Лазарь.

– Самая обыкновенная, – пожала плечами Глаша. – Это просто особенность женского сознания вообще – держать в памяти множество мелочей.

– Ого! – удивился он. – Интересные у вас наблюдения.

– Это не мои наблюдения, – смутилась она. – А психологов. А я просто довольно много читала по психологии.

– Вы поступили на психологический факультет? – поинтересовался Лазарь.

– На исторический. Я люблю историю.

– Глаша, вы не перестаете меня удивлять! – Он даже головой покачал от удивления.

– Почему? – не поняла она.

– Потому что вид у вас такой, что невозможно представить, чтобы вас интересовало что-нибудь серьезное. Сколько вам лет, семнадцать?

– Шестнадцать, – буркнула Глаша.

Все-таки обидно, что он разговаривает с ней как с дурочкой! Хотя к тому, что ее считают маленькой, Глаше было не привыкать. Точно на свой возраст она выглядела, может, только в коляске. А уже в младшей группе детского сада, мама говорила, ее принимали за ясельного ребенка и удивлялись, как это такую маленькую вообще в садик взяли.

В школу ее, правда, приняли даже на год раньше, чем положено: мама упростила, потому что ее уже стало пугать дочкино увлечение взрослыми книжками, которым она не знала, как руководить.

В третьем классе Глаша выглядела первоклашкой, а в восьмом ее даже не хотели принимать в комсомол, потому что не верили, что такая небольшая девочка может быть идейной.

Она была не то что маленького роста – хотя и это тоже, – но главное, она была такая... Ну, невзрослая с виду, наверное.

– Выглядите еще младше, – улыбнулся Лазарь. И, всмотревшись в ее обиженное лицо, добавил: – Не расстраивайтесь. Лет через двадцать это качество будет казаться вам драгоценным.

Этому утверждению Глаша не поверила. Ну не все ли равно ей будет лет через двадцать, как она выглядит? В том возрасте, в котором она будет тогда, это уже не может иметь значения. Вот мама ведь не думает о своей внешности. То есть выглядит мама, конечно, красиво, но это получается как-то само собой, а думает она только о том, чтобы все хорошо было у папы и Глаши.

Она уже хотела высказать свои соображения Лазарю, но тут к столу вернулся официант. Через его руку была перекинута чистая скатерть, а на подносе стояла бутылка шампанского, вазочка с конфетами и три бокала. Два бокала пустые, а в третьем – роза.

– Ой... – сказала Глаша, глядя на розу так, словно она упала с неба. – А откуда она взялась?

– Выросла, – ответил Лазарь. – Чтобы вас поздравить с поступлением.

Глаша покраснела так, что у нее даже слезы выступили.

– Но ведь мы же в поезде... – пролепетала она.

К счастью, Лазарь ее глупого лепета не услышал – пока официант перестилал скатерть, он открывал шампанское. Это получилось у него так легко, что Глаша даже не успела зажать уши ладонями. Когда дома на Новый год открывали шампанское, она всегда пугалась. Вдруг пробка попадет кому-нибудь в глаз или бутылка разлетится на мелкие осколки?

Официант ушел. Глаше показалось, что и все куда-то ушли из ресторана. То есть она понимала, что никто, конечно, никуда не ушел – просто она перестала замечать посторонних людей.

Она смотрела, как Лазарь разливает шампанское. Он налил ей и себе и немножко шампанского плеснул в бокал с розой.

– Кажется, есть стихи про розу в бокале с шампанским? – сказал он. – Вы, наверное, знаете.

– Конечно, – с готовностью кивнула Глаша. – «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, аи». Это Блока стихи. Только аи не шампанское, а просто вино.

– Вы прямо переполнены разнообразными насущными сведениями, – усмехнулся Лазарь.

Да, дурочкой он ее считал явно. Но при этом называл на «вы». Все-таки когда человек держится с тобой вежливо, то уже не так заметно, умной он тебя считает или глупой.

А вообще-то все эти мысли мелькнули лишь по краю Глашиного сознания и тут же исчезли. Она была потрясена, растеряна, сердце у нее билось так сильно и часто, что это, наверное, было даже со стороны заметно.

Ей впервые в жизни подарили цветы. И не полевые, и не из домашнего палисадника; впрочем, ей и полевых никто никогда не дарил. И в классе, и во дворе, и в пионерском лагере она всегда считалась маленькой, да что там – просто пигалицей. К тому же она была отличница, а какой мальчишка обратит внимание на отличницу?..

И вдруг – самая настоящая роза. Такая, каких Глаша не только не получала, но и не представляла, что может когда-нибудь получить. Таких огромных, таких... взрослых роз она даже вблизи никогда не видела.

И вот теперь именно такая роза стоит перед нею на ресторанном столике, в самом настоящем бокале для шампанского. И подарил ее не мальчишка, а взрослый мужчина. Глаша не то что не рассчитывала на подобное внимание – с такими мужчинами она жила все равно что на разных планетах.

А он как ни в чем не бывало разливает шампанское, придвигает к ней вазочку с конфетами, и взгляд у него такой, словно все это само собой разумеется. Да еще, как самый обыкновенный мальчишка, посмеивается над тем, что она читала Блока.

– За вас, Глаша, – сказал Лазарь. – Пусть Москва встретит вас с пониманием.

Что-то неожиданное было в его словах. Глаша, когда поступила, думала о том, как интересно ей будет учиться, и о том, как появятся у нее новые друзья и как будет она ходить в музеи и театры – их в Москве так много, что успеть бы во все! Но о том, что не только она встретится с Москвой, но и Москва будет ее как-то встречать и понимать... Нет, об этом она совсем не думала.

Лазарь поднес свой бокал к Глашиному и после тоненького стеклянного звона выпил шампанское. Глаша тоже выпила полный бокал залпом, как воду. Шампанское ей совсем не понравилось, но она не хотела, чтобы Лазарь это заметил. Она больше не собиралась казаться пигалицей, которая даже шампанское пьет всего лишь третий раз в жизни!

– Блок, наверное, ваш любимый поэт, – сказал Лазарь. – Раз вы его стихи наизусть знаете.

– Нет, – покачала головой Глаша. – Не самый любимый.

– А кто самый?

– Некрасов.

– Кто-о?! – изумился он. – Это про коня и горящую избу, что ли?

– Нет, не про коня, – улыбнулась Глаша. – Я больше всего люблю у него поэму «Русские женщины». Про декабристок.

Когда Глаша впервые прочитала «Русских женщин», то потрясение, которое она пережила, не имело себе равных в ее душе. Она представила огромные снежные поля, выюгу, одинокие темные деревни, мрачные заводские строения вокруг сырых и холодных рудников, а главное, страшную, бесконечную в своем унынии безнадежность всей этой жизни, и представила совсем юных, очень красивых – на портретах все они были необычайно красивы – женщин, которые оказались в этих однообразных пространствах после жизни разнообразной, яркой, интересной... Она физически ощутила тот же ужас и отчаяние, которое и они пережили тогда. И тут же пронзила ее другая мысль: да ведь никто не заставлял их все это пережить, наоборот, все отговаривали губить свою молодость, и какой же силы была та сила, которая руководила ими, когда они уезжали к своим мужьям в полную неизвестность, в грубую беспросветность, и не краткий порыв ведь это был, а сила долгая, которой хватило на целую жизнь...

Все это так потрясло ее тогда, что она даже тетрадь отдельную завела и вклеивала в нее все статьи и заметки о декабристах, которые удавалось вырезать из газет и журналов. И даже теперь, когда острый интерес к ним остался пусть и в недавнем, но прошлом, Глаша все же не воспринимала его как обычное детское увлечение.

– Почему же вас именно декабристки так заинтересовали? – спросил Лазарь.

Интересно было видеть, как меняется выражение его глаз: внимание уже побывало в них весельем, потом сделалось изумлением и вот теперь снова стало вниманием.

– Потому что их жизнь имела смысл, – ответила она.

– А мне кажется, и ваша жизнь тоже имеет смысл. Просто так, без жертвенного подвига.

– Моя? – удивилась Глаша. – Я об этом не думала...

Она сказала чистую правду, но только сказав ее, поняла, в чем причина этой правды.

Она просто не считала, что ее жизнь уже идет. До сих пор была учеба, родители, подружки, книги, но все это было только детство, а жизнь... Нет, ее Глаша еще только обдумывала, только представляла, какая она у нее будет. Но в мыслях у нее при этом не было, что жизнь ее уже началась.

Да она ведь и не начиналась раньше. Жизнь началась только сейчас, в ту минуту, когда Глаша вышла в тамбур и Лазарь взглянул на нее рембрандтовскими глазами. И все, что про-

исходит теперь, когда они сидят за ресторанным столиком, разделенные темной розой, – это происходит уже не в детстве, а просто в жизни.

Она вступила в жизнь, как в море, и, как море, жизнь оказалась сплошная, единая. Вот началась она, а дальше будет только длиться, длиться, длиться.

Глаша и не предполагала, что граница жизни окажется такой ясной, такой осязаемой, что ее можно будет перешагнуть, как линию прибоя, можно будет потрогать рукой.

Она протянула руку и потрогала пальцем розу. Лепестки отливали темным перламутром.

– Вы очень старательно обдумываете жизнь, Глаша, – сказал Лазарь. – Слишком старательно. Меньше расчета!

– Но я ничего не рассчитываю, – недоуменно проговорила она.

– Я, может, не так выразился. Да, вряд ли вы рассчитываете. Но слишком по-девчоночьи к жизни относитесь.

– Но как же еще я могу к ней относиться? – удивилась Глаша.

– Свободнее. – Его глаза сверкнули. Глаша не поняла, что это сверкнуло в них. – Крупнее. Не так дробно. В ней ведь довольно много непредсказуемостей, в жизни. Жаль будет, если вы окажетесь к ним не готовы. Хотя... – Он улыбнулся. Глаза сразу сверкнули снова, но уже совсем по-другому. – Вы к ним готовы. Не зря же про декабристок читаете. Что-нибудь да поняли.

Глаша не очень поняла, что он имеет в виду. Она была сейчас слишком взволнована, чтобы сосредоточиться.

Вагон качнуло сильнее. Поезд замедлил ход и остановился. Лазарь отодвинул занавеску и посмотрел в окно.

– Станция Дно, – сказал он.

– Здесь Николай Второй от престола отрекся, – машинально проговорила Глаша.

И тут же прикусила язык – вспомнила, как Лазарь заметил, что она переполнена всякими сведениями. Наверное, в этом и состоит дробность ее сознания. Но она ведь правда интересуется историей! И правда представляет, как в действительности происходило все то, о чем она читала в книгах, и переживает за людей, с которыми все это происходило. И что же ей теперь, переделывать свое сознание? Делать его крупным? Но возможно ли это и что это вообще значит?..

Глаша не знала ответов на такие странные вопросы. Все это было слишком смутно, непонятно. Может, слишком взросло?

– А почему вы так рано в Москву едете? – спросил Лазарь. – До первого сентября больше двух недель.

– Надо с жильем устроиться, – объяснила она. – Мы с папой у его однокурсника остановимся, пока с общежитием разберемся.

– А где вам общежитие дают? – спросил Лазарь.

– Еще не знаю.

– Я на Ленгорах жил, – улыбнулся он.

– Вы учились в университете?

Глаша обрадовалась. Если он учился в МГУ, значит, пережил то же, что совсем недавно переживала она. Такое же волнение – вдруг не поступлю? – и такое же ослепительное счастье потом, когда впереди – Москва... Москва!

Эта общность пережитого сразу сделала Лазаря понятнее, даже как-то ближе.

– Да. На химфаке, – ответил он. – Пять лет назад окончил.

– А где вы работаете?

– На производстве. Действительно, по делам еду в Москву, вы угадали. Ну, давайте еще раз за вас выпьем, Глаша. Мне очень помогла встреча с вами.

– Помогла? – Глаша так удивилась, что даже шампанское до рта не донесла. – Но чем же я могла вам помочь?

Наверное, ее удивление выглядело смешно – Лазарь улыбнулся. Но объяснил при этом серьезно:

– Вы меня воодушевили. Я был в унынии – думал, с круга слетел. Вот представьте: крутится плоская поверхность, и вы на ней, и вас все больше относит к краю, и удержаться в центре вы никак не можете. А потом вас и вовсе с поверхности сносит, а тогда уж обратно ведь не вернешься – слишком быстро этот круг вращается. И всё – всю жизнь проведете где-то на обочине. Ну вот, я думал, что с круга слетел. А это мне сильно не по нутру. И вдруг девушка серьезная, и глаза у нее умные, и Некрасова она любит... Увидел я вас, и стало мне легко и весело! Допивайте шампанское, – неожиданно завершил он. – Я вас провожу.

Вот так! А Глаша-то думала, они долго еще будут сидеть за столом у покачивающейся розы, будут разговаривать обо всем, и счастье, охватившее ее, когда она поняла, что уже переступила границу жизни, что она уже не готовится жить, а просто живет, – это счастье будет длиться и длиться...

И вдруг он спокойно говорит ей: «Спать пора», как несмышленому ребенку!

– Да, – проговорила она, стараясь, чтобы голос не дрожал. – Уже поздно.

– Еще рано, я бы сказал, – улыбнулся Лазарь. – Пойдемте, Глашенька.

В Глашином вагоне было совсем тихо. Потертая дорожка делала шаги беззвучными. В руке Глаша держала розу, сжимала ее, не замечая, как колются шипы. В середине вагона дорожка собралась в складку, и она чуть не упала. Лазарь придержал ее за плечо. Так странно было идти по спящему вагону с этой темной розой в руке, странно было почувствовать его руку у себя на плече! И самое странное было – понимать, что все это сейчас закончится.

В ту секунду, когда Лазарь придержал ее, чтобы она не упала, Глаша поняла: ей хочется, чтобы он так и держал свою руку у нее на плече, да и обе руки ей на плечи положил бы, и развернул бы ее к себе, и обнял, и поцеловал.

Эти мысли обожгли ее, и ей показалось, он уже делает все это.

Но только показалось, конечно. Глаша остановилась у закрытой двери своего купе.

– Вы... – Она хотела спросить: «Неужели вы уйдете?» Но не спросила этого, конечно, а только выговорила: – Вы тоже в этом вагоне едете?

– Нет, – ответил он. – В другом. Я просто шел в ресторан и остановился покурить в тамбуре. Спокойной ночи, Глашенька. Спасибо вам!

Еле сдерживая слезы, Глаша стала дергать за дверную ручку. Ничего у нее не получалось – купе никак не открывалось. Лазарь протянул руку и, снова на секунду коснувшись ее руки, открыл дверь.

Глаша шагнула в темное купе. Она не могла попрощаться с ним – боялась расплакаться. Ну как же это может кончиться вот так вот, словно само собой разумеющееся, как будто ничего и не было?! Рука горела от его случайного прикосновения.

Дверь за Глашей тихо закрылась.

Глава 4

«Мне плохо в Москве. Не тоскливо, а именно что плохо. Все давит, душит... Дышать тяжело».

Глаша сидела на лавочке в университетском парке и чуть не плакала. Она не ожидала, что долгожданная Москва обернется для нее таким разочарованием. Ведь все у нее хорошо – так хорошо, что лучше и быть не может! – а она просыпается утром с одной мыслью: какой длинный впереди день, как давит он всей своей громадой, какой жалкой букашкой она чувствует себя от того, что нависает над ней этот бесконечный день, этот огромный город...

Почему это вдруг стало так, Глаша не понимала. Папа уехал во Псков неделю назад, сразу же, как только все устроилось с ее общежитием, и провожала она его вроде бы в приподнятом настроении, да и каким же еще могло быть у нее настроение, если все, о чем она мечтала, наконец сбылось? Да она прямо в тот вечер, когда проводила папу, возвращалась к себе – уже к себе! – на Ленинские горы и думала, куда пойти завтра, в Третьяковку или, может, в Музей изобразительных искусств, и даже жмурилась от счастья: вся Москва открыта теперь перед ней, всю ее она обойдет неторопливо, подробно, узнавая как старых знакомых дома и памятники, о которых столько читала!..

И когда же это вдруг началось – вот это, что происходит с ней сейчас?

– Глафира, вот твоё мороженое.

Глаша оторвала взгляд от яблони, которую довольно бессмысленно рассматривала, погрузившись в свои невеселые мысли. Яблоня выглядела в университетском парке какой-то нечаянной, хотя их здесь было много, и даже зеленые яблочки проглядывали в их листве.

Перед лавочкой стоял Миша и протягивал ей эскимо, которое подтаивало у него в руках.

– В стаканчике не было, – сказал он. – Только на палочке.

– Спасибо.

Глаша вздохнула.

– Оно тоже вкусное, – заверил он.

Миша Ефанов был Глашиным однокурсником; они вместе сдавали вступительные экзамены. Он тоже приехал на учебу пораньше, и они оказались едва ли не единственными обитателями общежития. Мишу привезла в Москву мама, и было непохоже, чтобы она собиралась возвращаться обратно.

Мама сопровождала Мишу по пятам и обследовала каждое помещение, в котором ему предстояло находиться во время учебы. Даже в столовую, еще не открывшуюся, она пыталась заглянуть, чтобы выяснить, чем собираются кормить ее мальчика. Хотя чем могут кормить в студенческой столовой? Тем же, чем и везде, – практически ничем.

Заодно мама преследовала и Глашу – похоже, надеясь, что та станет присматривать за Мишей в ее отсутствие.

– Как вы будете жить, не представляю! – восклицала она каждый вечер, оставляя Мишу перед дверью общежития; сама она устроилась у дальних родственников, но уходила к ним только ночевать. – Вы же с голоду умрете! В продуктовых – как Мамай прошел.

– Да ведь всюду так, – пыталась вставить Глаша. – У нас во Пскове то же самое. А у вас в Феодосии разве лучше?

– В Феодосии, конечно, с продуктами хуже, чем в Москве, – соглашалась Мишина мама. – Но там я, по крайней мере, всех знаю, весь город обшиваю и все могу достать. И бабушка у нас в Насыпном живет, огород у нее свой, все свежее оттуда привозим. А здесь что? Здесь вы себе гастрит наживете в первом же семестре.

Все это было, может, и правильно, но очень скучно. Ну что толку размышлять о дефиците мяса, или сахара, или даже молока – в магазинах не было теперь в самом деле почти ничего, –

если всеми этими размышлениями дела не поправишь? Да и не так уж это важно вообще-то. Будут и правда обедать в столовой, когда она откроется. Разве это главное?

Глаша была уверена, что ей повезло жить в самое интересное время, какое только может быть. Как раз когда она перешла в старшие классы, жизнь вдруг сделалась такой стремительной, так быстро стала меняться, что только успевай следить за этими необыкновенными переменами.

Мама качала головой:

– Что творится! Ладно Сталин им плох, ну а Ленин, а революция-то чем не угодила? И то мы, выходит, не так делали, и это не этак. Разве можно людям такое говорить?

– Но ведь это правда, – возражала Глаша. – По-твоему, хорошо, что Ленин людей приказывал в заложники брать и расстреливать? Про Сталина я вообще не говорю.

– Расстреливать, конечно, нехорошо... – не слишком уверенно соглашалась мама. – Но ведь это наша жизнь. Получается, и жизни нашей не было? Как тогда детей растить, какими они вообще вырастут? Без всяких идеалов!

Глаше жалко было маму, и она старалась не спорить. Но несколько с ней не соглашалась, конечно. Какие же это идеалы, если они – ложь? В том, что идеалы, ради которых надо убивать ни в чем не повинных людей, – ложь, Глаша не сомневалась. И ей было радостно от того, что теперь никогда уже не придется притворяться, что ложь – это будто бы правда и что будто бы она в это верит.

Ради этого можно пережить и что-нибудь потруднее, чем отсутствие мяса и сыра. В конце концов, сколько Глаша себя помнила, все это всегда добывалось только по праздникам, да и то лишь потому, что на заводе, где папа работал инженером, давали продуктовые заказы.

– А там, возле мороженого, все говорят, что телевизор отключен. Или не отключен, а только балет показывает, – сказал Миша, садясь на лавочку рядом с Глашей и разворачивая свое мороженое. – Кажется, что-то случилось.

– Где случилось? – не поняла Глаша.

– Ну, здесь. В Москве. Вроде бы Горбачева свергли.

Миша принялся облизывать мороженое. Глаша вскочила с лавочки.

– Ты что?! – воскликнула она. – И что же теперь будет?

– Ну, наверное, опять то же самое, – пожал плечами Миша. – Что и раньше было, до Горбачева.

Про таких, как Миша, говорят: спокойный, как удав. Хотя вообще-то он был похож не на удава, а на плюшевого мишку.

– Да чего ты волнуешься? – Миша удивленно посмотрел на Глашу. – Вступительные ведь мы уже сдали.

– При чем наши вступительные? – не поняла она.

– Ну, могли бы историю завалить. Непонятно же, как отвечать – сегодня одно, завтра другое, – объяснил он. – А теперь у нас только античная история будет в первом семестре. И Древняя Русь. Там все ясно – хоть при Горбачеве, хоть при ком.

– Как же ты можешь! – Глашину возмущению просто предела не было! – Ведь это же... это... Нельзя же, чтобы опять все по-прежнему было!

Она сунула Мише в руку свое эскимо, которое так и не успела развернуть, и побежала по аллее. О том, как душно и тяжело ей было пять минут назад, Глаша позабыла напрочь. Надо было немедленно разобраться, что же случилось, что происходит сейчас и, главное, что будет дальше!

Глава 5

– Девочка, ну куда ты лезешь? Посторонись! И вообще, иди-ка ты домой. К маме с папой. Давай, малышка, давай!

Глаша не обратила на эти слова, а главное, на обидный снисходительный тон, которым они были произнесены, ни малейшего внимания. Если уж ей повезло пробраться почти к самому Белому дому, то станет она слушать вредного типа, который считает ее кем-то вроде собачонки, удравшей на улицу по недосмотру хозяев!

Впрочем, вредный тип – парень ненамного старше Глаши – забыл о ее существовании даже быстрее, чем она исчезла с его глаз, затерявшись в толпе. Он тащил большую коробку, доверху набитую булками, и ему, понятно, было совсем не до девчонки – лишь бы под ногами не путалась.

«Не такой уж он все-таки вредный, – подумала Глаша. – Принес же людям поесть».

Самой ей тоже хотелось есть нестерпимо. Отправляясь к Белому дому, она как-то не подумала о том, что может проголодаться; совсем другие у нее были мысли.

Весь предыдущий день Глаша провела в общежитском холле у телевизора, пытаясь понять, что же происходит. Но понять что-либо оказалось невозможно. Показывали партийных начальников, которые рассказывали, что они образовали Чрезвычайный комитет, а Горбачев заболел и остался в Форосе и управлять государством не может. Снова и снова показывали «Лебединое озеро». Потом просто играла музыка.

– Но это же самый настоящий государственный переворот! – воскликнула Глаша, когда на экране появились маленькие лебеди со своим танцем.

– Глафира, – пожал плечами Миша, – откуда ты знаешь?

– Это очевидно, – ответила Глаша. – Они захватили власть незаконным путем. Значит, совершили государственный переворот. Слышал, их даже на пресс-конференции спросили, понимают ли они это!

– Ну, слышал. – Миша снова пожал плечами. – Но это же ничего не значит. Мало ли что можно спросить. Сразу всем верить?

– Надо думать самостоятельно и делать собственные выводы, – сказала Глаша.

– Все-таки ты слишком умная, – вздохнул Миша. – Мама говорит, для женщины это плохо.

Если бы Глаша хоть немного интересовалась мнением Миши или тем более его мамы, то, наверное, рассердилась бы или хотя бы удивилась: почему это быть умной – плохо? Но ей было совсем не до чужих глупых мнений.

– Плохо быть дураком. И для женщины, и для мужчины, – отчеканила она.

И ушла к себе в комнату.

Глаша еле дождалась, пока пройдет ночь, и рано утром отправилась к Белому дому, рассудив, что узнать настоящие новости можно сейчас только на месте их появления.

Здесь, на набережной Москвы-реки, она и провела весь этот длинный августовский день. Она видела, как подошли к близлежащим улицам танки, как выстроились на Москве-реке баржи – люди говорили, что речники специально подогнали их, чтобы, если будет штурм, помочь погасить пожар в Белом доме.

Про штурм, который будет этой ночью, говорили все. Со ступенек центрального входа уже несколько раз просили, чтобы женщины разошлись по домам. Конечно, потому и просили, что ожидали штурма в самое ближайшее время. Но никто из женщин не уходил, а из мужчин тем более.

– Ни в коем случае уходить нельзя! – горячо убеждала неизвестно кого высокая дама в длинном платье из мешковины и в соломенной шляпе. – Пусть видят, что мы здесь. Не станут же солдаты по женщинам стрелять!

Глаша тоже не могла представить, чтобы солдаты стали стрелять, не обязательно по женщинам, а даже и по мужчинам. Это ведь самые обыкновенные мальчишки, все равно что ее одноклассники, и как же они вдруг начнут стрелять по живым людям? Это кем же надо быть, чтобы такое сделать?

Как бы там ни было, а уходить она, конечно, не собиралась. Да, может, и не удалось бы ей никуда уйти: в городе был объявлен комендантский час, и хотя его, кажется, никто не соблюдал, но транспорт вряд ли ходил. Да Глаша и представить не могла, что оказалась бы сейчас не здесь, среди всех этих возбужденных и веселых людей, а в общежитии, рядом с плюшевым Мишей. Ни за какие коврижки!

Подумав про коврижки, Глаша сглотнула слюну. Днем какая-то старушка угостила ее борщом из кастрюльки, но это было давно, и есть, конечно, уже захотелось снова. Да и вечерняя прохлада постепенно переходила в ночной холод, особенно ощутимый от того, что на Глаше было только белое летнее платье и босоножки.

«Глупости! – сердясь на себя, подумала она. – Не Антарктида, не замерзну!»

Видимо, из-за маленького Глашиного роста ее то ли не замечали, то ли не принимали во внимание, а потому прогоняли не слишком рьяно, особенно теперь, когда стемнело. Потому ей и удалось остаться на ночь прямо у баррикад, построенных перед самым Белым домом. Правда, когда у людей на баррикадах появились автоматы и она спросила, где их раздают, то один из защитников шуганул ее как кошку:

– А ну, брысь! Ишь, вояка нашлась – автомат ей раздай!

Но в остальном ей, конечно, повезло с ее маленьким ростом и неприметностью. Повезло оказаться в самой гуще событий, а значит, в самой гуще истории, о которой когда-нибудь обязательно напишут в учебниках, в этом Глаша была уверена. Она была со всеми, среди всех, и хотя вряд ли от нее была здесь какая-нибудь польза, но все-таки польза была, и Глаша это знала.

Днем она вместе со всеми жадно читала листовки, которые раздавали со ступенек Белого дома и из которых можно было узнать правду. Что армия сначала не хотела поддерживать защитников, но теперь начинает переходить на их сторону, а значит, танков, которые ревут моторами совсем рядом, на Калининском проспекте и на Смоленской площади, можно не бояться – это наши танки. И что строители шлют на Краснопресненскую набережную прицепы с песком для баррикад. И что никто их на самом деле не боится, этих коммунистов-заговорщиков, и звонили из Нижнего Новгорода и с Урала – там им даже телевидение не подчиняется! И Ельцина Глаша видела – он стоял на танке, и слова его тонули в общем радостном крике всех, кто собрался перед Белым домом, и это были уже тысячи, десятки тысяч людей...

Все она видела, и все это так взволновало ее, что теперь, к вечеру, она даже усталости не чувствовала, хотя провела весь день на ногах, лишь изредка присаживаясь на ящики и бетонные блоки, из которых были сооружены баррикады.

Но вот ночной холод – это было нелегко. Мама всегда говорила, что Глаша худосочная, косточки воробьиные, потому и мерзнет, как воробей. Раньше она не обращала на мамины слова внимания, но теперь, похоже, с ними следовало согласиться: у нее зуб на зуб не попадал.

К счастью, на баррикадах стали зажигать костры. Наверное, не одна она стала мерзнуть.

Глаша чуть не вприпрыжку добежала до ближайшего костра и присела на перевернутую мусорную урну, которую кто-то к нему подтащил.

– Если штурмовать будут, то ночью, – говорил какой-то мужчина; огонь освещал его лицо редкими всполохами. – Они и в семнадцатом году революцию в темноте обтапали и сейчас то же сделают.

– А вы что, боитесь? – насмешливо спросил другой мужчина, судя по голосу, постарше.

– Бояться не боюсь, но умереть тут было бы жалко, – ответил первый.

– От чего это вдруг умереть? – удивился еще один человек.

Он только что подошел к костру и стоял у Глаши за спиной. Он был высокий – оглянувшись, она увидела только приклад автомата, который висел у него на плече.

– Да от чего угодно. Хоть из танка пальнут, хоть саперной лопаткой по голове. Это они умеют.

– Не бойтесь, – ответил мужчина у Глаши за спиной. – Смелым Бог владеет.

Это были какие-то неожиданные слова. Очень необычные! Они совсем по-новому объясняли то, что Глаша чувствовала весь этот день, пролетевший как миг, и продолжала чувствовать сейчас, в темноте у костра.

Она не только оглянулась, но и задрала голову: ей хотелось увидеть, кто эти слова произнес.

И она увидела.

Лазарь стоял в полушаге от нее, освещенный пламенем, и смотрел на людей вокруг костра с тем же веселым вниманием, с каким смотрел на Глашу в вагонном тамбуре.

– Ой! – пискнула Глаша и вскочила.

– Сидите, девушка, сидите, вы что? – удивленно сказал он; наверное, решил, что она уступает ему место.

– Лазарь, это я! – воскликнула она. – Глаша Рыбакова! Мы с вами в поезде ехали!

Она проговорила это торопливо: ей вдруг показалось, что он может уйти, не узнав ее. Уйдет, растворится в темноте, исчезнет так же неожиданно, как появился.

Но еще прежде, чем Глаша успела все это проговорить, лицо Лазаря осветилось той самой улыбкой, от которой у нее замерло сердце, когда она впервые увидела ее в темном поездном тамбуре.

– Глашенька! – радостно произнес он. – А вы-то как здесь оказались?

– Я просто пришла, – сказала она. – Как все.

Лазарь хмыкнул – Глаше показалось, недовольно.

– Не надо бы вам здесь, – сказал он.

– Но вы же здесь, – заметила она.

– Я – другое дело.

– Ну и я другое дело, – обиженно пробормотала Глаша.

Еще двух слов с ней не сказал, даже не расспросил ни о чем, а уже напоминает, что она пигалица. Сейчас тоже «брысь» скажет!

– Ладно, – вздохнул Лазарь. – Все равно вас отсюда вряд ли выгонишь.

– Вряд ли, – охотно подтвердила Глаша.

Он зачем-то снял с плеча автомат и сказал:

– Подержите.

Глаша и не представляла, что автомат такой тяжелый. Взяв в руки, она его чуть не уронила и удивленно подумала: «А в фильмах с ним так легко бегают! Или в фильмах автоматы настоящие?»

Впрочем, когда этот автомат висел на плече у Лазаря, то тяжелым не выглядел. Прежде чем она успела осмыслить это философское противоречие, Лазарь снял с себя куртку и надел на нее.

– А вы? – пролепетала Глаша.

Она так смутилась, что ничего умнее спросить не смогла. Его тепло обожгло ей плечи.

– Я – другое дело, – повторил он, забирая у нее автомат. И добавил: – Любое равенство должно иметь разумные пределы. Даже на баррикадах. – И спросил: – Вы, наверное, есть хотите?

– Немножко, – призналась Глаша.

Хотя – о прошлом были ее слова, потому что в эту самую минуту она о своем голоде уже забыла. Она так обрадовалась, увидев Лазаря, что забыла обо всем.

Пустой и тихой показалась ей огромная площадь, гудящая людскими голосами, и гул танковых моторов перестала она слышать, и потрескивание досок в кострах.

Это было то самое, про что Маяковский написал: «Стих людей дремучий бор, вымер город заселенный, слышу лишь свисточный спор поездов до Барселоны». Это он потому написал, что в Барселону уезжала женщина, которую он полюбил, но на самом-то деле ведь неважно, Барселона, или Париж, или Москва, а важно только...

«Полюбил? – Глашино сознание зацепилось за это слово, и она так изумилась, что даже про стихи тут же позабыла. – Это что же – значит, я тоже полюбила?»

И как только пришла ей в голову эта мысль, сразу стало так легко, так хорошо, таким веселым воздухом наполнилось все у нее внутри, что она еле удержалась, чтобы не вскрикнуть от счастья.

Все это – и стихи, и «полюбила», и воздушное счастье в груди – длилось, наверное, лишь несколько секунд. В эти несколько секунд после ее ответа – что она, дескать, голодна, да, – уместилась вся ее жизнь.

– Пойдемте поужинаем, Глашенька, – сказал Лазарь.

Точно как тогда, в вагоне. И как же она могла думать, что это никогда больше не повторится? Как могла плакать – ночами в подушку или заглядывая в энциклопедию по живописи Возрождения, в которой лежала засушенная темная роза?

Их встреча не могла быть случайной, в ней был особенный смысл, и хотя никто не знал, в чем этот смысл состоит, и даже сама Глаша не знала, но она точно знала, что он есть и что он – счастье. Смысл – счастье или Лазарь? Она запуталась. Но это было теперь неважно!

Лазарь взял из костра тлеющую доску и пошел в сторону Белого дома, поближе к ступенькам. Глаша пошла за ним.

Там, куда они пришли, тоже сидели люди – несколькими кружками. Женщин среди них не было, только мужчины, и все с автоматами. Лазарь с Глашей подошли к одному из кружков. В середине его были подготовлены доски для костра.

– У всех спички разом кончились, – сказал Лазарь. – И зажигалки тоже. Вот, к соседям за огоньком пришлось идти.

Он поджег дрова. Костер сразу затрещал громко, весело. Впрочем, Глаше все теперь казалось веселым.

– Сейчас картошки напечем, – весело – тоже, конечно, весело! – сказал пожилой мужичок в ватнике, подбрасывая в огонь новые дощечки. – Потерпишь, а, девушка?

– У меня бутерброд остался, – сказал Лазарь. – Подкреплю ее, пока картошка подоспеет.

Он отвел Глашу в сторонку – жар костра доставал и сюда, – усадил ее в театральное кресло, каким-то непонятным путем попавшее на баррикады, и достал из кармана своей куртки, надетой на Глашу, круглый бутерброд в папиросной бумаге. Чтобы залезть в карман, ему пришлось протянуть руку у Глаши за плечами. Она замерла от этого короткого объятия, и сердце у нее забилося так, что она испугалась, что Лазарь его услышит.

Но он не услышал, наверное. Он развернул бутерброд и протянул Глаше.

– Из «Макдоналдса» сегодня принесли, – сказал Лазарь. – Они нам обедов штук сто, наверное, сюда доставили. Но всё съели уже. Аппетит-то у всех на свежем воздухе отменный. Вот, только гамбургер остался. Вкус немножко резиновый, но привлекательный.

– А вы? – спросила Глаша.

– Опять вы про равенство и братство? – улыбнулся он. – Ешьте.

Глаша надкусила непривычно круглый бутерброд, который Лазарь называл гамбургером. Вкус у него тоже оказался непривычный. Гуляя по городу, она не раз проходила мимо «Макдоналдса» на Тверском бульваре, но очередь туда стояла такая же длинная, как на выставку в

Третьяковке, и Глаше жалко было тратить столько времени на еду, даже самую настоящую американскую, хотя Миша, уже побывавший в «Макдоналдсе» с мамой, всячески эту еду нахваливал.

Теперь гамбургер показался ей слаще меда. То есть не меда – мед Глаша не любила, – а... Ну, амброзии какой-нибудь, или нектара, или что там еще едят в райских садах.

Она жевала бутерброд и смотрела на Лазаря. Он стоял перед ее креслом, высокий как скала, и лицо его снова сияло рембрандтовским светом. Из-за костра. И из-за того, что Глаша в него влюбилась.

– Расскажите, как вам в Москве приходится, – попросил Лазарь.

Он всегда говорил как-то необычно, это Глаша уже заметила. Что-то в нем вообще было необычное, хотя ничего странного в нем при этом не было – все было сильно, просто и прямо, вся его натура выявлялась в каждом его жесте, слове и в молчании тоже.

– Но ведь про меня теперь неважно, – ответила Глаша.

– Почему? – удивился он.

– Потому что теперь происходят такие значительные события, – объяснила она.

– Я и забыл, что вы девушка серьезная. – Лазарь улыбнулся. – Но все-таки расскажите про себя. Что в Москве было самое интересное?

– А знаете, – вспомнила Глаша, – ведь мне в Москве все время как-то душно было. Душно, тяжело. И днем, и ночью даже. Я не понимала, отчего такое.

– Просто вы никогда не оказывались летом в мегаполисе. Здесь же совсем не как у нас – бетона много, асфальта. Вы к этому не привыкли, вот и душно.

– Все так просто? – не поверила Глаша.

– Очень просто. Со мной то же самое в первый год было. Не то что летом – и зимой даже. Потом привык, и прошло.

Она хотела сказать, что духота, которую она все время чувствовала в Москве, была не внешняя, а внутренняя какая-то, и ведь теперь вот ее нету, хотя вокруг все тот же бетон и тот же асфальт, – но, прежде чем сказать, поняла: говорить этого не нужно. Потому что Лазарь прав. Его мысль идет тем путем, которым ее, Глашина, мысль идти не может. У нее мысль – как мелкая тоненькая пружинка, и так же, как мелкая пружинка, ни на что особенное не годится. А он мыслит прямо и точно. Крупно, вот как. Да, он ведь и сказал ей тогда, в поезде, что на жизнь надо смотреть крупнее, свободнее.

Весь он состоял из сплошной свободы; здесь, на этой освещенной кострами площади, окутанной голосами множества людей, которые пришли сюда именно чтобы быть свободными, это было особенно понятно.

– Ну вот и картошечка поспела. – К ним подошел тот самый мужичок в ватнике. В руках у него была мятая жестяная коробка, в которой лежала печеная картошка. – Давай, Лазарь Ермолаич, угощай девушку. И сам угощайся.

Глаша не выдержала и улыбнулась, услышав его имя-отчество.

– Сочетание то еще. – Лазарь заметил ее улыбку и тоже улыбнулся. – Когда еврейская мама влюбляется в папу-скобара и рождает, не удосужившись его хотя бы спросить, вот такое и получается.

– Вы очень хороший получились! – горячо заверила его Глаша.

Лазарь расхохотался. Потом присел перед Глашиным креслом и сказал:

– Ну, давайте ужинать.

Только теперь Глаша заметила, что рубашка на нем такая же белая, как тогда, в поезде. Видимо, это было его особенное свойство – всегда быть в чистой рубашке.

Рядом с картошкой на жестянке была насыпана крупная соль. Лазарь разломил картофелину пополам и протянул Глаше. Ей вдруг показалось, что это уже было. Вот это – освещен-

ная кострами площадь, и веселые его, широкие глаза, и картошка с солью... Все это было в ее жизни всегда – может, когда ее самой еще и на свете не было.

Она смотрела на Лазаря и не чувствовала вкуса картошки, которую машинально ела вместе с черной кожурой.

– Думаю, штурма уже не будет, – сказал он. – Иначе я вас отсюда все же отправил бы.

– Почему не будет штурма? – спросила Глаша.

Идею отправить ее отсюда она благоразумно обсуждать не стала.

– Потому что перелом начался. В нашу сторону. Я здесь с первого дня, и это очень чувствуется.

– Ну да, все веселые, и никто не боится, – кивнула она.

– Не в этом дело. Все и с самого начала веселые были. Но вначале опасность была явственная, а теперь ее нет.

– Я слышала, что военные на нашу сторону переходят, – вспомнила Глаша. – Наверное, потому и перелом.

– Не перелом потому, что военные на нашу сторону переходят, а наоборот – переходят они потому, что перелом наступил, – возразил Лазарь. – Вы же «Войну и мир» читали, конечно? – Глаша кивнула. – А там ведь про это как раз и есть. У Наполеона еще был перевес в военной силе, но дух у нас был уже сильнее – и Наполеон начал проигрывать. Хотя никаких военных причин для этого не было. Это загадка вообще-то интереснейшая! – Его глаза сверкнули. – И не только для войны – для любых больших событий, и личных тоже, я думаю. Что такое этот дух, от чего он зависит? От правды, видно.

Глаша слушала, держа картофелину у рта и не замечая, что вымазывается черной кожурой.

– Ну а с военной точки зрения смести нас всех отсюда ничего не стоит, – закончил Лазарь. – На час-полтора операция. Это если более-менее деликатным способом. А если без особых церемоний, то и получаса хватит.

– Откуда вы знаете?

– Нетрудно рассчитать. Даже моего армейского опыта достаточно.

– Вы военный? – удивилась Глаша.

– Да просто срочную служил. В МГУ с первого раза не поступил, а во Пскове учиться не хотел – были обстоятельства. Ну и пришлось в армию. А вы, Глашенька, перемазались, как трубочист. – Он вынул из кармана носовой платок и протянул ей. – Вытирайтесь.

Платок, как и следовало ожидать, был чистый. В другой какой-нибудь момент Глаша страшно смутилась бы от того, что выглядит как трубочист. Но сейчас, вот в этот момент, она не смутилась нисколько. Вернее, не от момента это зависело, а от Лазаря. Ей было с ним так легко, как не бывало никогда в жизни, даже наедине с собой.

Пока она вытирала щеки, Лазарь ушел к костру. Через минуту он вернулся. В руке у него была бутылка.

– Запейте и руки вымойте, – сказал он.

«А вы?» – чуть не задала привычный вопрос Глаша.

Но вовремя вспомнила, что он на это ответит, и спрашивать не стала. Она послушно выпила воды и полила себе на руки.

– А теперь все-таки расскажите, как вы живете, – сказал Лазарь.

Он придвинул поближе ящик, предназначенный на дрова, поставил его напротив Глашиного кресла и сел.

– Мне кажется, что я попала в середину жизни, – сказала она.

– Ну, в середину жизни вы еще не скоро попадете.

Лазарь улыбнулся.

– Я не про возраст! – горячо возразила Глаша. – А про то, что здесь все время что-нибудь происходит! Сейчас-то, на площади, – это понятно. Но и вообще в Москве. Я даже не очень понимаю, почему у меня такое ощущение. Я ведь только хожу, смотрю, и со мной вообще-то не происходит ничего особенного, никому до меня и дела нет, но...

– А родители ваши знают, что вы у Белого дома? – перебил ее Лазарь.

– Нет, конечно. Я им вчера утром дала телеграмму, что у меня все в порядке и чтобы они не волновались.

– Вряд ли не волнуются. Но теперь уж ничего не поделаешь. А ощущение, что в Москве все время что-то происходит, у вас потому, что вы не только умная девушка, но и чуткая. Происходит, это правда. Сильная концентрация людей, которые что-то существенное могут создавать. Естественно, в их жизни что-нибудь все время происходит. А они – это Москва и есть.

– А почему вы после университета в Москве не остались? – спросила Глаша.

Она не очень-то представляла, в чем заключается его работа, она и видела-то его всего второй раз в жизни, но ей казалось, что он вот именно создает что-то существенное. А значит, он – Москва и есть?

– Не получилось у меня, Глаша.

Ей показалось, что по его лицу пробежала тень. Но, может, только показалось. Все вокруг состояло из сплошных теней и огней. Да и в прошлый раз они встречались в таком же мерцающем полумраке.

Как бы там ни было, а расспрашивать об этом подробнее Глаша не стала.

– Я бы письмо вашим родителям отвез, – сказал он. – Чтобы не волновались. Но вряд ли в ближайшее время домой поеду.

– У вас еще командировка, да? – спросила она.

– Командировка кончилась давно. Но как уедешь, когда здесь такое? Вам-то как историку интересно, – улыбнулся он. – А мне с практической точки зрения. Нужно было новое, я давно это понимал – тесно мне было. А теперь я к новому пробуюсь.

Он сказал это так, что и сомневаться было невозможно – конечно, пробьется. Хотя что он называет новым, Глаша понятия не имела. Да это было для нее и неважно. Это было из той большой, широкой жизни, в которой он был свой, а ей достаточно было просто знать, что такая жизнь есть.

Эта большая жизнь была даже в карточке, которую он ей принес, она обнимала Глашу теплом его куртки и смотрела на нее его широкими глазами.

– А вы устали, – сказал Лазарь. – Давайте я вам еще одно кресло добуду, и вы поспите?

– Нет-нет... – пробормотала Глаша. – Не надо, что вы!.. Я так...

Он раньше ее заметил, что она уже засыпает. Ей-то казалось, что это просто отблески костра мелькают повсюду, что кипит и трепещет воздух летней ночи, а это уже сон туманил ей голову, соединял ресницы, переливал под веками огоньки...

Глаша и не поняла, как уснула. Сначала ей было неудобно, а потом стало хорошо: она вытянулась во весь рост, и под головой у нее оказалась подушка, или не подушка, а свернутая куртка, или нет, ведь куртка была на ней, но вдруг сделалась такая длинная-длинная, накрыла Глашу от шеи до босоножек...

Станция Дно давно исчезла вдали всеми своими тускловатыми огнями. Глаша потушила окурок и вернулась из тамбура в вагон. Там по-прежнему стояла суета, будто и не ночь на дворе. Надо было все-таки сказать Лазарю, что уезжает, или хотя бы – что билетов нет. Ехала бы сейчас по-человечески. Уже спала бы, наверное.

«В Испании отосплюсь, – подумала Глаша. – лягу прямо на песок и буду спать. Иногда глаза открывать и смотреть на море. И все. Больше ничего».

Она устала. Сильно она устала! И даже не сильно, а долго. Или так не говорят – долго устала? Неважно, говорят или нет – у нее усталость была именно долгая. Слишком много времени – не день, не месяц, даже не год, а многие годы – Глаша жила иначе, чем должна была жить. Во всяком случае, жизнь ее сложилась иначе, чем она предполагала.

Сначала она думала, что привыкнет, но привыкнуть не получилось. И вот теперь чувствует себя так, словно отпуск ей дали не в музее, а на угольной шахте.

На Глашиной нижней полке сидели работяги с двух полок верхних. К счастью, выпивка у них уже заканчивалась, да и сами они клевали носами, иначе, наверное, не полезли бы на свои места, едва завидев ее.

Она легла не раздеваясь, накрылась одеялом от шеи до пяток. Точно как той ночью на площади перед Белым домом. Только тогда вместо одеяла была куртка и лежала Глаша на двух сдвинутых креслах.

Но тогда она была счастлива, а теперь – нет.

Глава 6

Лежать на песке с закрытыми глазами и лишь изредка открывать их, чтобы взглянуть на море, – это Глаше, конечно, не удалось. В Испанию она приехала впервые, и ей просто жаль было видеть только море да песок, при том что все побережье представляет собою непрерывную нить, на которую нанизаны чудесные бусинки-городки, и всего за час можно доехать до Барселоны.

Так что на пляже она провела только самый первый день, а уже на второй, как только спала жара, пошла по набережной куда глаза глядят. Благо, куда ни глянь, везде красиво.

Первый городок, который попался ей на пути, назывался Кальдес д'Эстрак. Может, это даже и не городок был, а просто поселок; разницу понять было трудно. Во всяком случае, он был похож на все милые поселения побережья Коста-дель-Маресме, которые Глаша успела мельком увидеть, пока ехала из аэропорта в отель.

Она поднялась с берега по крутой каменной лестнице и остановилась перед забором, через который перевешивались нежно пахнущие цветы на длинных выющихся стеблях. За забором был сад, в нем звонко пели птицы, и все это напоминало рай.

Пройдя вдоль забора, Глаша обнаружила открытые ворота. Табличка извещала, что в особняке, стоящем в глубине сада, находится музей Палау. Что это за музей, Глаша понятия не имела, но не зайти было бы странно.

«Рефлекс старого музейного работника», – подумала она, входя в ворота.

Сад в самом деле выглядел райским; первое впечатление не обмануло. И цветы, и птицы были такими яркими, каких, казалось, в обычной жизни не бывает. Море, простирающееся внизу, под скалой, на которой цвел этот сад, лишь усиливало впечатление какой-то особой, волшебной действительности.

В залах было немногочленно. Даже пусто в них было, пожалуй; Глаша бродила в одиночестве, и только отдаленные шаги напоминали о том, что она не единственный посетитель этого тихого музея.

Она остановилась перед пейзажем, на котором была изображена местность, похожая на здешнюю, и разглядывала это изображение долго, удивленно. Судя по табличке, пейзаж был написан Пикассо, но если бы не табличка, Глаше и в голову не пришла бы такая атрибуция.

Она смотрела на аккуратно выписанные деревья и горы и не понимала, как такое может быть.

– Это действительно загадка, – услышала Глаша и, вздрогнув, оглянулась.

– Я говорю вслух? – спросила она и только после этого сообразила, что с ней заговорили по-русски.

Ну да чему удивляться? Русских на испанском побережье летом едва ли не больше, чем местных жителей. Да и среди местных жителей их, наверное, уже немало.

– Вы очень выразительно думаете, – ответил ее собеседник. – Ваши мысли читаются по лицу.

Может быть, Глашу расстроило бы такое наблюдение, если бы она не чувствовала себя сейчас слишком рассеянно и расслабленно для сколько-нибудь сильных чувств.

«Да что же это такое? – все же подумала она. – Каждый встречный с ходу определяет мою незамысловатость».

Впрочем, мужчина, заведший с нею беседу, похоже, не имел намерения ее обидеть. И мысль свою он тут же объяснил:

– Ученические картины Пикассо в самом деле заставляют недоумевать: как же их очевидная заурядность соотносится с его талантом? И где скрывался этот талант до поры до вре-

мени? Такие мысли приходят естественным образом. Так что догадаться о вашем впечатлении нетрудно.

– Да, – кивнула Глаша. – Пейзаж скучненький. На голубой период, а тем более на кубизм – ни намека.

«Зачем я об этом рассуждаю? – мелькнуло у нее в голове. – Я в отпуске. Я приехала сюда, чтобы голова у меня проветрилась. Хотя бы голова».

К счастью, единственный посетитель музея, видимо, не намерен был поработать при ней экскурсоводом и поучить ее, как надо понимать искусство. Он смотрел на Глашу с той приветливостью, с какой всякий воспитанный человек смотрит на случайного и кратковременного собеседника. Глаза у него были доброжелательные, интонации интеллигентные. На вид ему было лет сорок пять.

– Не буду вам мешать, – словно подтверждая Глашино впечатление, сказал он.

И вышел из зала.

Глаша побродила еще немного, уже в полном одиночестве. Картины, собранные здесь, принадлежали разным художникам, были и работы Пикассо, и не только ученические. Но того ощущения пленительности, невозможности уйти, в котором и заключалось для нее главное удовольствие от прогулок по музеям, здесь все же не возникало. Поэтому Глаша уже через полчаса вышла на улицу.

Ее недавний собеседник сидел на лавочке под апельсиновым деревом. Увидев Глашу, он поднялся и спросил:

– Ну как, понравилось?

– Приятно, что в таком маленьком городке выставлена такая обширная коллекция, – уклончиво ответила Глаша.

– Это даже не городок, а деревня, – улыбнулся он. – Просто господин Палау – а ему уже под девяносто – живет именно здесь, и коллекция его, соответственно, здесь и выставлена. Он близкий друг Пикассо, тот ему немало своих картин в свое время подарил и даже атрибуцию доверил.

– Вы здесь работаете? – поинтересовалась Глаша.

– Нет. Просто у меня самая коллекция, потому и чужими интересуюсь.

– То есть вы здесь живете? – уточнила она.

– Живу в Москве.

В разговоре подтверждалось впечатление, которое составилось о нем с первого взгляда: спокойная доброжелательность была, по-видимому, главной его чертой. Кроме того, обращало на себя внимание его лицо: все его черты были крупны, даже прорезающие загар светлые лучики морщин, которые расходились от глаз.

– Виталий Аркадьевич, – представился он.

– Глафира Сергеевна, – пришлось представиться и Глаше.

Она уже давно привыкла к тому, что ее называют по имени-отчеству. Псков, а тем более Пушкинские Горы – это ведь не Москва, звать женщину до старости Катей или Лизой не принято.

Точно так же Глаша привыкла и к тому, что давно уже никто не связывает ее имя с каверинским романом. Теперь другие времена, и другие книги им соответствуют. Если книги вообще хоть сколько-нибудь соответствуют нынешним временам.

– Если вы не очень спешите, – предложил Виталий Аркадьевич, – я показал бы вам парк, да и деревню тоже. – И объяснил: – Я здесь не в первый раз.

Все-таки он не прочь был ее сопроводить. И хотя Глаше нисколько этого не хотелось, отказаться она постеснялась. Для того чтобы отказаться, надо было или обидеть его, сказав, что она не нуждается в его обществе, или соврать, сказав, что она спешит. Ни обижать людей, ни врать Глаша не привыкла.

– Конечно, я не спешу, – сказала она. – В Испании вообще никто не спешит, по-моему.

– В Каталонии тем более, – кивнул он. – Мы с вами в Каталонии, вы знаете? У них тут собственная гордость, и они очень возмущаются, когда их называют испанцами.

– Что ж, не буду, – улыбнулась Глаша. – И спасибо, с удовольствием посмотрю эту милую деревню вместе с вами.

Глава 7

– Коллекция досталась мне от отца. – Виталий Аркадьевич придвинул поближе мисочку с теплой водой, в которой плавали лимонные дольки. – А ему – от деда и прадеда. Сам я вряд ли сумел бы ее собрать.

Он ополоснул в лимонной воде пальцы и промокнул их салфеткой.

– Почему? – спросила Глаша.

Он улыбнулся и объяснил:

– Потому что она слишком хороша. У меня на такую просто не хватило бы времени. Я еще недостаточно стар.

Он сказал об этом без тени кокетства, присущего многим мужчинам его возраста в беседах с женщинами возрастом помоложе. «Ах, я уже старик – ну опровергните же, что же вы молчите? Ах, я еще вполне себе молод – ведь правда, ну скажите же!» Глаша терпеть не могла подобного жеманства, и ей понравилось, что Виталию Аркадьевичу оно не свойственно.

– У вас коллекция картин? – поинтересовалась она.

– Картины тоже есть. Но в основном все же другой антиквариат. Знаете, в последнее время я стараюсь не говорить о том, что его собираю.

– Конечно, говорить об этом слишком широко не стоит, – кивнула Глаша. – Не стоит дразнить гусей. То есть воров.

– Нет, не поэтому. А потому, что многие считают, что антиквариат – это мнимая ценность и интересуются им будто бы только те, у кого нет в жизни ценностей подлинных.

– Я так не считаю, – пожала плечами Глаша. – То есть я не думаю, конечно, что столик карельской березы – это абсолютная ценность. И Манделыштам, когда написал про ценности незыблемую скалу, явно имел в виду не антиквариат. Но, знаете... – Она помедлила, чтобы точнее выразить свою мысль. – Знаете, Виталий Аркадьевич, я думаю, собирать антикварные вещи – занятие для очень зрелых людей. Если человек уверен, что его система ценностей достаточно тверда и что он не перепутает Божий дар с яичницей, – почему бы ему не коллекционировать старинную мебель? Это будоражит воображение, и потом, это просто красиво.

Виталий Аркадьевич слушал с той же доброжелательностью, с которой делал все, что делал – даже, кажется, ополаскивал пальцы после омара.

– Вы мне льстите, – сказал он наконец.

– Я просто высказываю свое мнение.

– Значит, ваше мнение мне льстит. Но как бы там ни было, я коллекционирую антиквариат с удовольствием. А вот и кофе.

Официант убрал тарелки – Глаша ограничилась супом, потому что ей не хотелось разделять омара щипцами, с которыми она не умела обращаться, – и поставил перед ними кофе. Виталий Аркадьевич поднес свою чашечку к губам так, словно та была антикварной. Еще когда он ел омара, Глаша успела отметить аристократическое изящество его движений. На его руки, на длинные тонкие пальцы приятно было смотреть.

«Кто он по профессии, интересно? – подумала она. – Может быть, хирург. По рукам похоже».

– Вы уже были в Барселоне? – спросил он.

– Еще нет. Я здесь всего два дня. Еще не утолила свою жажду покоя, – улыбнулась Глаша. – Пока только лежу на песке и смотрю в море. Вот, впервые вдоль берега прошлась.

– Но, наверное, когда-нибудь и в Барселону захочется?

– Надеюсь.

– Если вы не против, я буду рад составить вам компанию. Барселону знаю неплохо и с удовольствием покажу ее вам. Не бойтесь, я не фанатичный гид. – Он тоже улыбнулся. –

Позавтракаем на рынке Бокерия, зайдем в Саграда Фамилия, погуляем в парке Гуэль и поедem домой.

– А почему завтракать надо на рынке? – заинтересовалась Глаша.

– О, это особый рынок! – объяснил он. – Самый старый в Барселоне, да, наверное, и во всей Каталонии. Всяческих морских гадов туда привозят ежедневно в шесть утра. И видов их там... Я однажды двести насчитал, потом сбился. Просто бесчисленные какие-то ракушки. А вокруг рынка – бесчисленные же ларечки с пластмассовыми столиками. Вот как у нас, знаете, возле киосков, где шаурму продают. Только абсолютная чистота, разумеется. И всех этих замечательных, свежайших морских гадов, выловленных не позже как два часа назад, при вас же и приготовят. Вот это, скажу я вам, зрелище и вот это вкус!

– Это вы так вкусно рассказываете, что у меня уже сейчас слюнки потекли! – засмеялась Глаша. – Хотя я только что наелась, как удав. Обязательно пойдем на Бокерию!

– Вы не пожалеете, – пообещал Виталий Аркадьевич.

Кафе, в котором они пообедали, стояло прямо у моря. Чтобы добраться до отеля, оставалось только понять, влево следует идти вдоль берега или вправо.

Ориентация на местности всегда была для Глаши чистым наказанием. Ее пространственный идиотизм принимал, по ее собственному мнению, просто-таки неприличные формы.

Особенно это чувствовалось в незнакомых городах. Если она шла по пешеходной улице и ей требовалось зайти в магазин, то каждый раз приходилось предварительно проговаривать вслух: «Выйду из магазина и пойду направо, тогда, значит, продолжу путь». Не проговорив этого, Глаша свободно могла двинуться по улице обратно и, только дойдя до самого ее конца, сообразить, что не шла вперед, а возвращалась назад.

– Это потому, что ты человек слова, – говорил Лазарь. – Во всех отношениях.

Он посмеивался, когда она произносила свое заклинание перед каждым придорожным магазином, и говорил, что она похожа на Герду, собравшуюся войти в волшебный чертог Снежной королевы. Впрочем, если она шла даже по совсем не знакомому городу с ним, то никаких заклинаний не произносила: любые чертоги и так открывались перед нею.

– Вы не возражаете, если я провожу вас до отеля? – спросил Виталий Аркадьевич.

Глаша обрадовалась – как хорошо, что не придется чувствовать себя идиоткой, расспрашивая прохожих, в какую сторону идти! – но все же уточнила:

– Это вам по пути?

– Да просто с удовольствием пройду с чудесной собеседницей, – ответил он. – А живу я здесь, в Кальдесе. Вон там, видите? – Он показал вверх, на склон горы, где белели аккуратные домики, обрамленные садовой зеленью. – Я сюда приезжаю каждый год и давно уже убедился, что снимать на лето дом гораздо удобнее, да и дешевле, чем жить в отеле.

«Нет, вряд ли хирург, – решила Глаша. – Раз все лето свободен».

При всем интересе, который она испытывала к самым разным явлениям жизни, Глаша никогда не страдала обывательским любопытством, а потому удивилась, что ее занимает профессия случайного знакомого.

Но поразмыслить об этой странности она не успела: Виталий Аркадьевич расплатился с официантом и поднялся из-за стола. Она с некоторым удивлением отметила, что ей при ее обычной щепетильности совсем не доставило неловкости то, что за обед заплатил посторонний человек.

Сумерки сгустились быстро – они еще шли вдоль берега. Так всегда бывает на юге, особенно в предгорьях.

«А море здесь ночью светится? – подумала Глаша. – Надо будет посмотреть. Сейчас как раз август».

В августовском Крыму море светилось так, что от каждого движения рук расходились по всей его глади – казалось, до самой Турции – фосфорические волны. Когда Лазарь выходил

из воды на берег, то на плечах у него еще мерцали зеленые капли, и Глаша, смеясь, говорила ему, что он похож на Дядьку Черномора.

До отеля дошли быстро: непринужденная беседа о сравнительных достоинствах раннего и позднего Пикассо сделала дорогу незаметной.

Идти в комнату, когда вечерний парк, будто живое существо, выдыхает чудные цветочные запахи, Глаше совсем не хотелось. Но хотелось остаться в одиночестве, и это следовало сделать как-нибудь так, чтобы не обидеть Виталия Аркадьевича. Пренебрежения он явно не заслуживал – и потому, что был безупречно вежлив, и потому, что Глаша провела с ним удивительно приятный день.

– Дайте мне знать, когда соберетесь в Барселону, – сказал он, когда они остановились у кипарисовой аллеи, ведущей от моря к отелю. – Я вот здесь свой испанский телефон вам записал, на московской визитке. Да и не обязательно ждать до Барселоны, в ближних окрестностях тоже замечательно. Испанцы ведь очень бережны ко всему, что составляет их своеобразие, и каталонцы тоже. Я взял напрокат машину, так что мы с вами можем хоть каждый вечер посвящать какой-нибудь интересной прогулке. Ведь вы тоже их любите, правда?

Вопрос прозвучал доверительно. Он любил интересные прогулки сам, он понял, что Глаша тоже их любит, он предлагал ей совершать их вдвоем, и делал он это без тени фамильярности, с одной лишь вежливой непринужденностью.

– Спасибо, Виталий Аркадьевич, – сказала она. – Я непременно вам позвоню.

Свет в номере Глаша включать не стала. Стоя у чуть отодвинутой балконной занавески, она смотрела, как он возвращается вдоль берега обратно в Кальдес. Берег был освещен огнями ресторанов и баров, а через море уже протянулась лунная дорожка.

Она дождалась, пока Виталий Аркадьевич исчезнет из виду, поскорее надела купальник и снова вышла на улицу.

Любители ночного купания на пляже мелькали, но все же берег выглядел почти пустынным. Глаша заплыла далеко, к буйкам, и легла на спину – прямо на лунную дорожку. Ей хорошо было лежать вот так, между небом и морем. Мысли становились такими же невесомыми, как тело, и так же, как собственное тело в морской воде, не тяготили, не угнетали.

«Я хотела разобраться в своей жизни, – думала Глаша, и тело ее покачивалось еле-еле, почти неощутимо гладили его волны. – А может, это не нужно? Ведь все устоялось, и я привыкла».

«А зря ты привыкла, – тут же шептал ей какой-то вкрадчивый голос, которого она не могла не слышать, как ни старалась. – К этому не надо привыкать. Жизнь, которую ты ведешь, унижительна. Ты можешь не слушать, когда об этом говорит тебе мама, можешь запрещать ей об этом говорить, но все же это так, и ты прекрасно это понимаешь, не можешь не понимать».

Глаша сердито дернула головой. Вода тут же плеснулась у ее виска, попала в рот и в нос. Она закашлялась и, перевернувшись, поплыла к берегу.

Попытка самокопания явно не удалась. Видно, вода плохо приспособлена для этого занятия.

«Не светится здесь вода», – подумала Глаша.

На всякий случай она присмотрелась повнимательнее – нет, вода точно не светилась, только темные тени, а не зеленоватые огоньки разбегались по поверхности, если пошевелить руками. Зря она вспоминала и Крым, и август, и фосфорное море.

Она вдруг поняла, что вспоминает все это как-то... отвлеченно, вот как. Будто все это было не с нею. Впервые воспоминания, относящиеся к этой части ее жизни, не отделились в ее сердце ни счастьем, ни болью.

Это было странно. И чем-то эта странность была связана с сегодняшним днем, со всем его замечательным явлением.

Но чем, но какая здесь связь? Этого Глаша пока не понимала.

Глава 8

За три недели она стала на себя не похожа.

Конечно, из-за загара. Ее лицо, обычно северно-бледное, было теперь темно-золотым, и на этом темном золоте глаза сияли как светлые звезды.

Про светлые звезды на темном золоте – это Виталий Аркадьевич заметил; Глаше не пришло бы в голову такое сравнение. Но она так явно ему нравилась, и он выражал свою к ней расположенность так интеллигентно, что его звездная аналогия не вызвала у нее ощущения неловкости.

В том, что она нравится Виталию Аркадьевичу, мог бы усомниться только слепой, глухой и лишенный всяких внутренних ощущений человек. Если в первый день их знакомства еще можно было предполагать, что Глаша привлекает его только как интересный собеседник, то уже во вторую встречу, когда поехали вместе в Барселону, эта причина не казалась главной.

То есть интересными собеседниками они друг для друга быть, конечно, не перестали. Виталий Аркадьевич водил машину в той же непринужденной манере, в которой, как Глаша успела заметить, и пил кофе, и ел омара, и смотрел картины. А потому, хотя он и был за рулем, интересному разговору ничто не мешало.

Море блестело вдоль шоссе, поблескивали и переливались то светлой, то темной зеленью горы, солнце светило с южной безмятежностью, и предстоящий день виделся легким и приятным.

Узнав, что Глаша работает в Пушкинском заповеднике, Виталий Аркадьевич обрадовался так, словно она сообщила, что является наследницей британского престола.

– Как это хорошо! – воскликнул он.

– Что хорошо? – Глаша улыбнулась его восторгу.

– Как прекрасно встретить женщину, которая занята содержательным и безусловно значительным делом!

– Боюсь, насчет содержательности и особенно значительности моего дела с вами многие могут поспорить, – возразила Глаша. – Обычно, как только я говорю незнакомым людям, что работаю в музее, на меня начинают смотреть с жалостью или, по крайней мере, с недоумением. Особенно мужчины.

– Почему? – не понял он.

– Ну, во-первых, понятно, что у меня маленькая зарплата.

– Женская зарплата мужчин, как правило, не волнует, – возразил он.

– А в-главных, во мне сразу начинают видеть замшелую архивную тетку.

Тут Виталий Аркадьевич расхохотался.

– В вас – тетку? – сквозь смех произнес он. – Да еще замшелую? Вы ошибаетесь, Глафира Сергеевна, уверяю вас! Максимальное оскорбление, которое можно нанести вашей внешности, – сказать, что маленькая собачка до старости щенков. Но и эта обидная глупость в общем-то не имеет к вам отношения. Вы похожи не на маленькую собачку, а на фарфоровую фигурку. Вот приедем в Москву, непременно вам такую покажу – у меня есть одна прелестная девочка с венской каминной полки, – заметил он мимоходом. – И несмотря на ее небольшой размер, в ней нет ничего мелкого, мизерного – ее хрупкая миниатюрность полна очарования. Вот так и вы, – заключил Виталий Аркадьевич.

Глаша не нашлась с ответом на такой изысканный комплимент. К счастью, машина уже въезжала в Барселону.

Решив, что поедет в Испанию, Глаша прочитала про Барселону все, что удалось найти в библиотеке и в Сети. Собираясь куда-нибудь ехать, она делала это всегда, и хотя в этот раз ее состояние перед дорогой было совсем лишено радостного предвкушения – привычке своей не

изменила. И собор Святого Семейства, и все дома Гауди она предварительно изучила так, что теперь оставалось только сверить действительность с имеющимися знаниями.

Это была одна из тех ее привычек, над которыми Лазарь всегда посмеивался.

– Что ж, на Бокерию? – спросил Виталий Аркадьевич. – Там позавтракаем, а пообедаем потом в порту. Или вам не хочется так много рыбного? Когда я впервые попал в Каталонию, у меня случилось белковое отравление, – вспомнил он. – Такого количества морских даров, которое здесь сразу же хочется попробовать, организм жителя Среднерусской равнины просто не в состоянии усвоить, особенно в жару. Можем ограничиться гаспаччо и мороженым. Итак?

– На ваше полное усмотрение, – улыбнулась Глаша.

– А еще говорите, мужчины смотрят на вас с недоумением! Да они с восхищением на вас смотрят, я уверен. Вы редкая женщина, Глафира Сергеевна, – сказал он, глядя на нее в самом деле с восхищенной серьезностью.

Глаша отвела глаза. Она не понимала, чем ей на это отвечать.

– Просто я плохо знаю каталонскую кухню, – наконец произнесла она. – И конечно, предоставляю выбор вам.

Виталий Аркадьевич в самом деле оказался неназойливым гидом. Он не стремился показывать Глаше все сразу, не ожидал, что она станет бурно выражать свои впечатления, – он вообще не навязывал ей Барселону, которую, это сразу было понятно, знал хорошо. К тому же он не сопровождал каждый свой шаг пространным рассказом – его комментарии были кратки, точны и даже художественны.

– Виталий Аркадьевич, а кем вы работаете? – наконец спросила Глаша, когда он сказал, что крыши домов, построенных Гауди, повторяют форму осенних листьев. – Если это не секрет, конечно.

До завтрака они решили прогуляться к морю и теперь неторопливо шли по светлому, прозрачному, пронизанному беспечной летней красотой бульвару Рамбла.

– Конечно, не секрет, – улыбнулся он. – Я же не разведчик и не создатель ядерного щита родины. Я лингвист.

Это мало что объясняло. Лингвист, который собирает антиквариат и каждое лето снимает дом на каталонском побережье, должен был бы производить неясное впечатление. Но Виталий Аркадьевич производил впечатление совершенной ясности. Выспрашивать же подробности его жизни Глаша не посчитала нужным. Не то чтобы постеснялась, а... Зачем ей они?

По аллее шел цветочник. Он выдернул одну лилию из большого ведра, которое, обхватив, нес перед собою, и протянул ее Глаше. Лилия была нежна и бела, как фата невесты. Виталий Аркадьевич протянул цветочнику деньги и что-то сказал ему по-испански. Цветочник тут же поставил ведро на землю, вынул из него еще три лилии, прибавил к ним какой-то яркий цветок и кружевную зеленую веточку, мгновенно обернул букет серебристой кружевной бумагой и с улыбкой подал Глаше.

– Спасибо, – сказала она цветочнику и Виталию Аркадьевичу. – Чудесные цветы. Похожи на Барселону.

Виталий Аркадьевич посмотрел на нее с каким-то непонятным вниманием. На секунду ей показалось, что он будто бы оценивает что-то в ее словах. Или во взгляде, или в том, как она кивнула головой в благодарность за цветы? Но что в этом во всем можно было оценивать? Нет, показалось, конечно.

Букет, составленный так стремительно, был тем не менее отмечен прекрасным вкусом. Глаша любовалась им все время, пока шли к морю. Да и потом, когда уже сидели за столиком маленького портового ресторана, – любовалась тоже.

– Вы задумались о чем-то очень серьезном, Глафира Сергеевна, – вдруг сказал Виталий Аркадьевич; она вздрогнула. – О чем же? Или это как раз секрет?

– Уж во всяком случае, не о ядерном щите родины. – Она улыбнулась. Улыбка, наверное, вышла принужденная, потому что Глаша действительно задумалась, и мысли ее были не то чтобы серьезны, но невеселы. – А думаю я... Например, о том, что Барселона вынуждена быть совершенной в последней степени.

– Почему? – с интересом спросил он.

– По самому своему местоположению. Я, знаете, вспомнила, как Пастернак писал Мандельштаму, что прочитал его книгу на даче, в лесу, то есть в таких условиях, которые действуют убийственно и разоблачающе на всякое искусство, если оно не в последней степени совершенно. А ведь здесь кругом сплошная природа. И раз Барселона существует в ней так убедительно, значит, она совершенна.

– Вы удивительно правы, – задумчиво произнес Виталий Аркадьевич.

– Это Пастернак прав, а не я.

«Лазарь сказал бы, что я вижу мир сквозь решетку цитат», – подумала она.

И не смогла понять, какие чувства вызвала в ней эта мысль. Печаль? Обиду? Раздражение? Впервые она не понимала, какие чувства вызывает у нее мысль о Лазаре.

– Возможно. Однако я не знаю женщин, которые так уместно вспоминали бы слова Пастернака и так точно их понимали бы. А филологинь среди моих знакомых между тем немало.

– Вы постоянно говорите мне какие-нибудь приятные вещи... – наконец решилась высказать Глаша.

– ... но вы при этом ничего не испытываете, – закончил он.

– Нет, ну это, конечно, не так... – попыталась возразить она.

– Вам нет никакой нужды оправдываться, Глафира. – Он улыбнулся той непринужденной улыбкой, которую ей уже хотелось назвать характерной для него. – Вы позволите называть вас по имени? По праву моего старшинства.

– Да, пожалуйста, – кивнула Глаша. – И я была бы рада называть вас по имени. Не из соображений возраста, а просто потому, что мы ведь на отдыхе.

– Заметано! – снова улыбнулся он. И добавил словно бы мимоходом: – А что до вашего равнодушия к моим комплиментам... Не думайте об этом. Отношения выстраиваются легко только в первой молодости. Взрослые люди не могут прилаживаться друг к другу с той же полудетской легкостью. Но ведь это не значит, что взрослые отношения менее существенны, правда?

Глаша промолчала. Да Виталий и не настаивал на ответе, тем более что официант очень кстати принес гаспаччо. Попробовав его, она сразу подумала, что Виталий оказался точен и в выборе блюда: есть жарким днем этот легкий холодный овощной суп было куда приятнее, чем сытные и тяжелые морепродукты.

В кафе посидели недолго – отправились гулять. Сверять Барселону со своими представлениями о ней оказалось захватывающе интересно. Именно захватывающе – настолько, что в какую-то минуту Глаше даже показалось: мучительная мысль, которая постоянно пульсировала в уголке ее сознания и отдавалась в сердце тоненькой тоскою, – эта мысль притихает и едва ли не исчезает совсем.

Особенно это чувствовалось в Каза Батлэ: прихотливая фантазия Гауди приняла в этом доме такие причудливые формы, что его многоугольные или вовсе безугольные, волнообразные комнаты затягивали в себя, как в водоворот. Полностью затягивали, вместе со всеми мыслями и всеми чувствами.

– Я никогда не видела, чтобы индивидуальность так ярко проявляла себя не в музыке, не в живописи или стихах, а в архитектуре, – сказала Глаша, когда они вышли на улицу. – Даже представить не могла, что такое вообще возможно.

От солнечного света, брызнувшего в глаза, она зажмурилась и чихнула. Слишком уж контрастировал он со сложным, таинственным, непонятно откуда исходящим освещением внутри Каза Батлѐ.

– Будьте здоровы, – сказал Виталий. – Да, вы правы: никакой альбом, ни один из многочисленных фильмов о Гауди не дает настоящего представления о том, что он такое.

Они гуляли до самого вечера – на гору Монжуик поднялись уже в темноте. Город, выплеснувшийся к морю лавиной огней, поражал и радовал красотой.

– Виталий, спасибо вам. Вы показали мне Барселону самым чудесным образом, – сказала Глаша.

– Это заслуга Барселоны, а не моя – то, что она вам понравилась, – улыбнулся он.

– Все же и ваша не меньше, – улыбнулась в ответ Глаша.

– Ловлю вас на слове, – сказал он.

– То есть? – не поняла она.

– Раз я оказался неплохим гидом, вы позволите мне показать вам и другие красоты Каталонии, – объяснил Виталий. – И Москвы, – тут же добавил он.

Возражать было бы глупо. Да и не хотелось Глаше возражать.

Вот потому-то три недели, окрасившие ее кожу в цвет темного золота, она провела, словно под волшебной лупой разглядывая побережье. Виталий поворачивал эту лупу перед ее глазами легко и незаметно.

– «Там Зевес подкручивает с толком драгоценною рукой краснодеревца замечательные луковицы-стекла – прозорливцу дар от псалмопевца», – сказала она однажды, когда они любовались очередным прекрасным видом с очередной из бесчисленных прибрежных гор.

– Мандельштам так же точен, как и загадочен, – улыбнулся Виталий.

Цитаты были для него не решеткой, загораживающей мир, а стройным лесом – лучшим, из чего этот мир состоит.

И его присутствие за эти три недели сделалось для Глаши если не совершенно необходимым, то все же естественным и привычным.

Глава 9

Москва встретила дождем и туманом. Контраст с испанским солнцем был так разителен, что дождь показался не самым обыкновенным природным явлением, а знаком тоски и уныния.

Может быть, Виталий заметил, как изменилось Глашино настроение. Во всяком случае, все время, пока ожидали багаж и стояли в очереди на паспортный контроль, он не пытался втянуть ее в разговор. Молчать этот человек умел так же естественно, как разговаривать; это достоинство невозможно было не оценить. Как и все другие его достоинства, впрочем.

И с той же простотой и естественностью, когда вышли наконец из здания аэропорта, он сказал:

– Давайте посидим где-нибудь. Выпьем кофе.

Глаша почти обрадовалась его предложению – в той мере, в какой могла она сейчас испытывать радость.

Она не любила и даже боялась вот этих последних минут перед любым расставанием – когда становится неизбежным обрыв жизни, которая пусть и на краткий срок, но стала привычной, наполнилась милыми мелочами, повседневными подробностями. Глаша жалела о том, что такой вот обрыв неизбежен в жизни вообще, не применительно к Виталию, но теперь именно он попал в сферу ее сожаления, и она обрадовалась тому, что он хочет отодвинуть неприятную минуту, сгладить расставание.

– Конечно, с удовольствием, – сказала она. – Да у меня и поезд только вечером, время есть.

От Шереметьева до Белорусского вокзала доехали почти молча – в аэроэкспрессе перекидывались лишь какими-то малозначительными фразами. Как будто ожидали той минуты, когда окажутся в кафе.

Глаша вдруг подумала, что ее общение с Виталием происходит в сплошь комфортном обрамлении. Музеи, парки, совершенные европейские улицы и не менее совершенный, не требующий дополнять себя воображением, пейзаж. Или стильное городское кафе – легкая еда, изящные кофейные чашечки. Странно все же, что она об этом подумала.

Зашли, не особенно мудрствуя, в «Старбакс» на Тверской. Уселись на диван у камина. Сразу стало так уютно, что и дождь за окном сделался частью этого уюта, и в уюте же незаметно растворилась тоска. Даже чемоданы, стоящие в углу, уже не говорили ей о неприкаянности, а лишь приятно напоминали о дальних странах.

Словно подслушав Глашины мысли, Виталий сказал:

– Когда я хочу перекусить на улице, то захожу в какое-нибудь кафе вроде этого. Стандартную еду принято ругать, а зря, по-моему. Конечно, землянику с лесной поляны не подадут, но по крайней мере и не отравят. А главное, то мироощущение, которое тебе здесь предложат, окажется ровно таким, какого ты и ожидаешь.

– Вы правы, как всегда, – улыбнулась Глаша.

– Вам это неприятно? – тут же спросил он.

Вообще-то ей это было безразлично, но не обижать же его.

– Совсем нет, – ответила она.

Пили кофе, ели пирожные и молчали.

– Во сколько у вас поезд? – Виталий нарушил молчание первым.

– Поздно, почти ночью. Вы не беспокойтесь, провожать меня не надо. Я сейчас сдам чемодан в камеру хранения и поброжу по магазинам. Осень. Пора менять гардероб, – объяснила она.

– Зачем же в камеру хранения? Вы можете оставить чемодан у меня. Заодно и душ принять – в самолете было жарко. Потом я отвезу вас в магазин, в какой скажете, а потом – на Ленинградский вокзал. Не обременит вас такой план?

Ну что можно было ответить на вопрос, поставленный подобным образом? «Такой план меня обременит»? Идиотизм. Жеманно потупить и заблажить: «Ах, что вы, что вы, это неприлично, идти в дом к постороннему мужчине»? Того хуже.

– Спасибо, Виталий, – сказала Глаша. – Я охотно зайду к вам в гости. Если ваши домашние не будут против.

– Я живу один, – ответил он. – Мама предпочитает дачу в Жаворонках, а жена умерла год назад.

За все время, что они были знакомы, Глаша ни разу не спросила о его семейном положении. Обручального кольца Виталий не носил, но ей было понятно, что он наверняка женат. Она не могла представить себе причину, по которой такой во всех отношениях привлекательный мужчина не имел бы семьи. Оказалось, что причина так же ненарочита, как и вся его натура.

– Пойдемте, Глафира. – Виталий поднялся из-за стола прежде, чем она успела как-то ответить на его слова. Да и непонятно было, как на них отвечать. – Мой дом в пяти минутах отсюда. С чемоданами дойдем за десять. Они ведь у нас на колесиках – мне будет легко их тащить.

Дошли даже быстрее, чем за десять минут, хотя Виталий пресек Глашину попытку катить свой чемодан самостоятельно.

– Феминизм как идея давно уже устарел, – заметил он при этом.

Старинный многоэтажный дом выходил своим желто-белым фасадом на Малую Дмитровку, но между ним и проезжей частью был еще просторный двор, обнесенный высокой решеткой. В границах двора, перед фасадом большого дома, стоял маленький, трехэтажный. На мемориальной доске, закрепленной между его окнами, Глаша разглядела профиль Чехова.

– Тот самый дом, где Антон Павлович жил, пока не перебрался в Мелихово, – заметив ее взгляд, пояснил Виталий. – Кругом сплошная история, как видите. И моему дому тоже больше ста лет.

В сплошной истории Глаша всегда чувствовала себя как в родной стихии. Поэтому не удивилась, когда точно так же почувствовала себя и в квартире Виталия.

Что хозяин коллекционирует антиквариат, понятно было уже в прихожей. Нет, не так: вся здешняя обстановка не выглядела мертвой коллекцией – вещи жили в этой квартире, как могут жить люди, и жизнь их была естественна и красива.

Зеркало, висящее у входа, было необыкновенным: его поверхность выпукло выступала за края позолоченной рамы. И собственное лицо, отразившееся в нем, показалось Глаше необычным. По обе стороны от зеркала стояли две фигуры мавров – черные, в бронзовых одеждах. В руках они держали бронзовые же фонари.

– Проходите, Глафира, – сказал Виталий. – Вот здесь гостиная, вон там спальня и кабинет, а ту дальнюю комнату я использую как гостевую. Можете располагаться в ней. Полотенце и халат для ванной – в шкафу. А я пока приготовлю все к обеду.

– Не надо ничего готовить, Виталий! – воскликнула Глаша.

– Я просто неточно выразился, – улыбнулся он. – Обед приготовила к моему приезду Надежда Алексеевна – она помогает мне по дому. Осталось только разогреть.

Дверь в гостиную была открыта. Проходя мимо нее, Глаша увидела большой овальный стол, похожий на вишневую вазу, стулья с высокими резными спинками, люстру кобальтового цвета, висящую над столом на медных цепочках, картины в бронзовых рамах... Все это выглядело немного тяжеловесно, но безупречный вкус, с которым был подобран каждый предмет, скрашивал это впечатление.

Гостевая комната была обставлена просто, даже незатейливо: пастельных тонов гобелен на стене, письменный стол у окна, ореховый шкаф в углу, диван с полочкой для статуэток. Но и незатейливость здесь была особенная – такая же, какой был отмечен весь облик Михайловского, и анфилады комнат в Тригорском, и просторный дом в селе Петровском.

То, что в современной жизни считалось незатейливостью, на самом деле было той совершенной простотой, которая является лучшим проявлением жизни. Это Глаше даже объяснять было не нужно, и именно это увидела она здесь, в квартире на Малой Дмитровке.

Брать из шкафа банный халат она не стала: не хотелось излишней интимности, и не такой уж долгой была дорога, чтобы принимать душ, достаточно было просто вымыть руки. Да и жаль было смывать с себя остатки морской соли.

Глаша подошла к дивану, чтобы лучше разглядеть гобелен. Когда-то она даже курсовую писала по гобеленам, поэтому разбиралась в них если и не как специалист, то все же не совсем дилетантски, а потому сразу поняла, что перед ней настоящее фламандское произведение, способное доставить удовольствие ценителю этого тонкого и неброского искусства.

Эта квартира и сама напоминала гобелен – точно так же она была соткана из множества нитей самых утонченных оттенков.

О гобелене Глаша и сказала сразу же, как только вошла в гостиную.

Стол уже был накрыт белой скатертью, по краю которой вилась причудливая кромка из кружевной вышивки «ришелье». Посередине скатерти стояла супница, по краям были расставлены столовые приборы. Английские тарелки с синим узором, белые салфетки в серебряных кольцах, высокие бокалы с морозной насечкой и хрустальный графин, и багровое вино мерцает от пламени свечи, горящей в бронзовом подсвечнике.

– Виталий, спасибо, – сказала Глаша, глядя на это торжество высокого вкуса. – Я не предполагала, что обед будет таким торжественным.

– Не торжественным, а праздничным, – поправил он. – Ваше появление в моем доме – праздник для меня. Празднично мы и будем обедать.

– У вас в гостевой комнате висит чудесный гобелен, – сказала Глаша, когда сели за стол и выпили первый бокал за благополучное возвращение на родину.

– Рад, что он вам понравился, – улыбнулся Виталий. – Знаете, благодаря ему я когда-то понял, в чем состоит прелесть домашней коллекции. Я ведь гобелены не любил. То есть не то чтобы не любил, но вот смотрел на них где-нибудь в Шенбрунне или в Версале и не понимал, в чем тут искусство. Блеклыми они мне казались, невыразительными. И в отцовской коллекции ни одного гобелена не было. А этот мне подарила мамина подруга, милейшая старушка. Она была мне кое за что благодарна, в общем, отказаться от ее подарка было невозможно. И вот повесил я на стену этот свой единственный гобелен, стал его рассматривать. – Рассказывая, он разливал по тарелкам суп. – И вдруг открылась передо мной такая тонкость, такая живая пленительность всех его деталей! В музее я ничего подобного не замечал. Только став для меня единственным, гобелен сумел показать мне свою силу, – заключил Виталий.

Глаша так заслушалась его рассказом, что ложка застыла у нее в руке над нетронутым супом.

– Вы необыкновенно отзывчивы на бытовые мысли, – переведя взгляд с этой застывшей ложки на Глашино лицо, сказал Виталий. – Но куриный бульон с домашней лапшой я вам все же советовал бы попробовать. У Надежды Алексеевны он всегда выходит замечательно. Как и все другие блюда, впрочем. Она этажом выше живет, так что радуется своей стряпней постоянно.

Что-то во всем этом было невероятное. За стенами гудел и грохотал тяжелый, лишенный всякой сентиментальности город – Глаше ли было не знать, насколько он ее лишен! – а здесь шла жизнь, в устоях своих настолько твердая, что о нее не только современность разбивалась, как о скалу, но и революция точно так же когда-то разбилась, наверное.

«Он специально уехал из Испании в один день со мной, чтобы показать мне эту жизнь. Свою жизнь, – вдруг, без всякой связи с предыдущей мыслью, поняла Глаша. – Да, ведь он до самого отъезда не говорил мне, когда собирается в Москву. Только один раз поинтересовался, на какое число билет у меня, и то мельком поинтересовался, а потом оказалось, что мы летим одним самолетом. Конечно, он сделал это не случайно. Но что же теперь?»

По тому, как Виталий всмотрелся в ее глаза, она поняла, что он уловил ее мысль.

– Глафира, я не требую, чтобы вы отвечали, но все же позвольте мне спросить: ведь вы замужем? – внимательно глядя в ее глаза, проговорил он.

Она молчала.

– Вы можете не отвечать, – не дождавшись ответа, повторил Виталий. – Я хочу только, чтобы вы понимали: мне дороги любые отношения с вами. Открытые, тайные – любые. Вы свободны в своем выборе. Если вы вообще не захотите его сделать – никаких со мной не захотите отношений, – я это тоже пойму. В таком случае, конечно, мне будет... горько. Но это не то соображение, которое должно иметь значение для вас.

Глаша опустила глаза.

– Я вас не тороплю, – поспешно добавил он.

– А вы не торопитесь ли сами, Виталий? – помолчав, тихо спросила она. – Конечно, не мое дело об этом говорить, но все же... Ведь ваша жена ушла из жизни так недавно. Возможно ли... То, о чем вы говорите? Не иллюзия ли это?

– Не тороплюсь ли я строить какие-то новые отношения – это вы имеете в виду? – уточнил он.

– Да, – кивнула Глаша. – Ведь все ваши жизненные привычки уже сложились, и сложились с одной женщиной. Почему вы думаете, что они так скоро сложатся с другой?

– Не вообще с какой-то другой женщиной, а именно с вами, – поправил Виталий. – Это важно. Во всяком случае, для меня важно. А что до трудности выстраивания новых отношений в моем возрасте... Видите ли, Глафира, я ведь и женился отнюдь не мальчиком – мне было сорок. Мы прожили с женой четыре года. Рак у нее обнаружили слишком поздно – она провела в больнице месяц, и все было кончено. Так что удар был для меня сильный, болезненный, но быстрый. И оправился я от него довольно быстро. Оценивайте это как хотите, но это так.

– Я не собираюсь это оценивать, – сказала Глаша. – Кто мне дал такое право?

– Я. Я даю вам право оценивать мою жизнь. И я был бы счастлив, если бы вы согласились разделить ее со мной.

Последнюю фразу он произнес твердо. Глаша поняла, что эта фраза – окончательная. Он больше не станет спрашивать, замужем ли она и какими в соответствии с этим будут их отношения, открытыми или тайными. Ничего он больше не станет спрашивать. Следующее слово за ней.

Но произнести это слово она не могла. Вся ее жизнь восставала против того, чтобы произнести его – разумное, ясное – сию же минуту.

– Виталий, через месяц я буду в Москве, – ровным тоном сказала Глаша. И, заметив, как блеснули его глаза, поспешно пояснила: – В командировке. Мы увидимся. Если вы... – Она хотела сказать «если вы не передумаете», но сказала вместо этого: – Если вы не будете в отъезде.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.